

ОЛЬГА КОЗЭЛЬ

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ПАРК. РАССКАЗЫ

Оглавление

Никто сюда не придет	1
Полигон	4
Крапинки.....	5
Пионерки и братья.....	9
Трамвайное яблоко	12
Галь-Валь	14
Элвис Пресли и зеленые ежики	17
Бабушка и самолет	20
Когда плачут мужчины	22
Новый роман	25
Рапорт, Патриарх и ландыши.....	28
Нож с кровостоком	31
Шестнадцатый парк. Рассказы водителя	34
Нас видно из темноты	34
Нерасстегнутый шлем	37
Я потеряла пилотку.....	40
Четвертый рейс	43
Пятьсот десятый.....	44
Девяносто пятый.....	47
Фераро Роше	50
Пассажиры.....	52
Сын Ахматовой.....	53
Когда цветет калина	54
Как мы с Володькой покупали ступицу	56
Безумный день без всяких Фигаро.....	58

Никто сюда не придет

Сегодня, наконец, все кончится. Я сижу за рабочим компьютером, уставившись в экран, и читаю про себя девяностый псалом. Вокруг спуют коллеги, даже главный начальник прискакал, потом финансовый директор — толстый парень с добродушным лицом, еще кто-то... Ясное дело, ждут скандала: должна же я что-то отчебучить, раз меня вытурили... Без скандала

от нас еще никто не уходил. Зачем этот цирк, неужели в последний день не могут оставить человека в покое? Через час придет бухгалтер, выдаст мне трудовую книжку — и я отчалю от вашего берега. «Наш офис слишком дорого обходится руководству!» — сказала неделю назад наша начальница, со значением глядя на меня. И все всё поняли: одного — точнее, одну — нужно срочно убрать. Я написала «по собственному», я не собираюсь скандалить, но в последнее время у меня так плохо с нервами: только тронь — и атомный взрыв. Им жизненно необходим взрыв, чтобы убедить себя — они правы по отношению ко мне. Я чувствую нетерпеливые взгляды — спиной, затылком. Я читаю псалом снова и снова — никто, никто сюда не придет, никто не защитит меня! Щелкаю мышью, изображая занятость, выбираю первую попавшуюся картинку и открываю во весь экран. Бог ты мой, это же... да это Лорка! Так и есть, Федерико Гарсиа Лорка — собственной персоной. Какая-то скорбная годовщина с того дня, когда люди губернатора Вальдеса выпустили в затылок поэта несколько остроносых пуль. Кажется, в нескольких километрах к северо-востоку от Гранады, в местечке Виснар... красных свозили туда грузовиками, без устали расстреливали и затапывали в землю — такую жирную, что ею можно закусывать вермут. Откуда мы знаем, что хотят люди, смотрящие нам в затылок? Очень часто они желают нашей смерти — разве не так? Голоса за спиной делаются громче и нетерпеливей — я в который раз твержу девяностый псалом и гляжу на Лорку строго и требовательно.

Лорке в день расстрела было, кажется, около сорока — значит, он так и упал на гранадскую землю с этой вовек не поседевшей мальчишечьей шевелюрой, сочными белками цыганистых, ласковых глаз... За что его убили? Да разве было на свете время, когда убивали за что-то? Вот и тут тоже: гражданская война, переворот, гидальго поддержал красных, был крайне невосдержан на язык в интервью — да и вообще, судя по всему, достал правящий режим, как наглый, обаятельный ученик достает седовласого учителя. Вдобавок Лорка был гомосексуалистом — а это считалось похлеще, чем быть коммунистом. Биографы, кажется, всерьез полагали, что за это его и убили, а вовсе не за политические взгляды. Как же он красив, Боже, Боже! Смелый открытый взгляд, распахнутый ворот белой рубахи, чубчик на породистом лбу — такими рисовали в советских учебниках мертвых героев-комсомольцев. И какая несчастная судьба: понятно, что двойная жизнь,

женщины сходили с ума, а он безответно влюблен в своего друга Сальвадора Дали, потом еще, кажется, в другого друга — в режиссера Луиса Бунюэля.

Дали в терапевтических целях познакомил Лорку со своей юной сестрой Анной-Марией — и девчонка втюрилась в красавца не на шутку, не понимая, конечно, что любит фантом, а коварный соперник — не кто иной, как родной брат. Между прочим, так и любила своего Федерико до самой смерти, даже, говорят, считала себя его невестой. Лорка умер — и некому было раскрыть малютке глаза. Но знаете что? Если бы на свете не было несчастной любви — ее стоило б немедленно выдумать! Иначе не было бы никакого Лорки — и никого из поэтов не было бы в помине. Что может быть лучше стояния под чужими окнами, из которых льется на вас мягкий стеариновый свет, где изредка мелькает на гардинах дорогая вам тень?

Потом у Лорки были, конечно, вполне удачные романы, было предложение эмигрировать в Штаты, но нет, нет! Гидальго не выбирал собственную расстрельную участь — похоже, это она выбрала его — как выбирают приглянувшихся мужчин чересчур властные роковые женщины. А если бы читал перед смертью спасительный псалом, как я сейчас, — могла бы смерть отвернуться? Или он отчаялся вконец, уверовал, что никто не придет, не вызовет его?

Я отрываю взгляд от монитора — и не верю своим глазам. В офисе пусто. Потрескивают процессоры, чуть слышно жужжит кондиционер — но никого, никого! Я шепчу Лорке «прощай», закрываю портрет и начинаю не спеша собираться. Спешить мне некуда. Я знаю: никто сюда не придет, почему-то знаю — и все тут. И можно спокойно побросать в сумочку разные мелочи, поправить перед зеркалом прическу, забрать у бухгалтера трудовую книжку... Бухгалтер — усталая, добродушная, все еще бледная после гриппа — участливо улыбается мне.

И вот я иду к метро, стуча каблучками нелепых щегольских ботинок. Я счастлива, что мир, наконец, оставил меня в покое, и почти налетаю с разбегу на даму средних лет — коротко стриженную и рыжеволосую, почему-то похожую на учительницу математики. Она сперва отшатывается, затем участливо спрашивает, что у меня стряслось. «Лорку убили...» — нехотя отвечаю я — пусть лучше примет за сумасшедшую, чем начнет утешать. «Гарсиа Лорку?» — уточняет она почему-то веселым голосом. Я очень серьезно смотрю в ее слегка раскосые желто-карие глаза рыси. «Но ты-то

жива! Живи до ста лет, выше нос!» — она треплет меня по плечу и слегка подталкивает вперед — так всегда делает мой отец. Я киваю послушно. Я иду к метро и еще долго чувствую затылком ее взгляд.

Полигон

Однажды я на них набрела. Случайно, под вечер уже. Если бы на моем месте был поэт, он бы, наверное, сказал, что солнце спешило утонуть в наступающей мгле. Но я не поэт и выражусь проще: темнело, я собирала землянику и... не заблудилась даже — просто зашла в перелесок, чтоб насобирать побольше да послаще. Ни про какой Бутовский полигон в то время еще слыхом не слыхивали, кроме разве что причастных к этому делу, если они еще оставались на свете. И я бы, понятно, никогда не сунулась в такое место, кабы только знала да ведала, но я ничегошеньки не знала, а ведала только, что само место — всего в пяти остановках на пригородной электричке от нашей платформы «Москворечье» — кишмя кишит земляникой.

Делать все равно было нечего: в школе каникулы, друзья разбрелись-разъехались по дачам — вот и нашла школярка себе развлечение, приятное и полезное. Бояться — не боялась: времена тогда стояли спокойные, да и далеко я никогда не уходила — охотилась за ягодой в лесочке, откуда слышно было голоса с железной дороги и гудки электровозов, а в тот вечер решила почему-то зайти подальше. Долго ли коротко шла — теперь уже не вспомнить: все-таки минуло почти тридцать лет. То все лес да лес, а тут вдруг гляжу — поляна, да такая пригожая, какие на картинах рисуют: холмик непрерывный — в три ряда, вокруг ягоды видимо-невидимо, аж в глазах красно, трава густая, блестящая — к нам на елку в школе Снегурочка приходила, у нее платье так же блестело.

Я, понятно, рада-радешенька — уж и на корточки присела, чтоб земляничины эти обобрать начисто и назад двигать, — уже смеркалось по-настоящему, а мне ведь еще поезд ждать да в Москву ехать. Но как-то не по себе мне вдруг стало, а отчего — не знаю. Испугалась, что дома влетит за позднее возвращение? Это, прямо скажем, вряд ли: я возвращалась и позже — дома никто не обращал внимания. И руки тянутся к желанной ягоде, а сорвать не могут — вот диво-то дивное, прямо тебе сказка про дудочку и кувшинчик. Я снова поднялась на ноги. Огляделась еще раз вокруг. Поляна

как поляна. Солнце садится — вот-вот исчезнет совсем, но ничего, выберусь, мы люди привычные. Холмики эти — от края до края поляны — откуда, интересно, они в глубине леса взялись? Вручную так насыпать — пуп надорвешь, неужто экскаватор пригоняли? А нафига?

И тут я увидела крест. На противоположном краю поляны — сзади уже начинался чернющий ельник. Пошла, конечно, к нему, к кресту, то есть надо же было посмотреть поближе. Обычный крест — с домиком, такие на кладбищах раньше ставили, я в картинном музее видала. Потянула носом — даже в нескольких шагах было слышно, как пахнет свежим деревом. Выходит, недавно поставили? Протянула руку, но потрогать не решилась, хотя и понимала, что никакая это не могила: во-первых, имени нигде нет, во-вторых, под крестом не имелось даже намека на холмик.

И тут, помню, почему-то такой страх меня скрутил! Если бы могила — я б не испугалась: что в ней страшного-то, в могиле? Просто показалось, что сзади смотрят на меня... много-много глаз. Ничего плохого и не хотят вроде, а просто смотрят — спокойно так, пристально. И бросилась я тогда бежать, землянику всю порастеряла, только на станции опомнилась и отдышалась. С того вечера я не была там ни разу в жизни. Даже когда служили в тех местах молебны, и воздвигали монументы, и многие мои друзья звали меня отдать дань памяти, я... нет, ни в какую. И не потому, что я все еще боюсь. Просто знаю: на самом деле все они живы.

Крапинки

Моя вера в Бога началась с того самого мышонка у реки, которого я убила в семь лет. Вообще-то я не собиралась никого убивать. Просто шла под вечер с Рыжиком (это я свою подругу так величала — Рыжик) по берегу Лихоборки. В руке у меня была палка с гвоздем — тоже ничего удивительного: место безлюдное, хоть и в двух шагах от микрорайона, мало ли на кого нарвешься, поэтому даже малыши вооружались — всем, на что хватало подручных средств и, конечно, фантазии. У ног шуршала прошлогодняя трава — и из нее-то, из этой самой травы, выскочил прямо к нашим ногам мышонок. Я не успела ничего подумать — сработал охотничий инстинкт, развитый у маленьких детей не хуже, чем у животных. Размахнулась и ударила. И очень искренне удивилась, что зверек лежит и не двигается. Рыжик захлопала в ладоши: «Попала! Прямо гвоздем!» «Убила, что ли?» — не поняла я. Рыжик

взяла у меня палку, потыкала острием в мышонка. Сказала солидно, со знанием дела: «Кажись, да...»

Мы уложили мертвого противника на палку (уже были, видно, наслышаны про погибших воинов, которых в древности приносили на щите) и торжественно отправились его хоронить. Хотели сначала похоронить у реки, но потом решили, что это неразумно: Лихоборка разольется, выйдет из берегов и размочит могилу. Испортит всю нашу работу. Поэтому залезли на самый высокий холм. Извозились в глине — что поделаешь, да признаться, мы и до этого уже были чумазыми до ушей. Несколько раз мышонок падал со своего щита, мы снова поднимали его и укладывали — все молча, чтоб не нарушать важности момента. На холме долго выдирали траву и выковыривали могилку — земля уже растаяла, но из-за корней сделать в ней углубление оказалось делом непростым и небыстрым. Мы заботливо уложили убитого зверька в ямку. Бросили по комку земли. Почтили его память минутой молчания — мы уже знали из телевизора, что так всегда делают, когда в Кремле умирают важные люди. «А завтра придем сюда, разроем его и посмотрим скелет!» — серьезно проговорила Рыжик и мотнула отросшей челкой. Я ничего не ответила и потрогала собственный лоб — он был отчего-то горячий, как только-только вынутая из костра картошка. Это и спасло меня в тот вечер от материнского нагоняя за позднее возвращение.

Ни назавтра, ни через неделю мы не пришли. Ночью я заболела ветрянкой. Болела долго и тяжело — несколько ночей лежала в жару, скрипела зубами и несла разную околесицу. Палка с гвоздем валялась в тамбуре. Когда жар, наконец, спал, и я смогла поутру подойти к окну, выяснилось, что в мир пришло настоящее лето — с листочками, птицами и одуванчиками.

Разумеется, я стала упрашивать бабушку отпустить меня на улицу, и она, в конце концов, подчинилась моему яростному напору. Но только чтоб на полчаса — не дольше. И со двора не уходить, а посидеть с Рыжиком на крылечке. Рыжика не надо было долго упрашивать — она, бедняга, так стосковалась по мне за эти карантинно-ветряночные дни, что примчалась мигом. Разумеется, ни на каком крылечке мы сидеть не стали: не детсадовцы же, а вполне себе солидные люди — ученицы первого «А» класса, почти уже второго. Прихватив тайком от бабушки мою палку, отправились на речку —

она не разлилась еще, только многообещающе бурлила под мостом, точно закипала.

Мы перебрались на другой берег — и зажмурились: миллионы, миллиарды одуванчиков окружили нас. Луг был желтым до самого горизонта, а за горизонтом ведь тоже, наверное, были они — одуванчики. Солнце задиристо лупило в наши затылки, а мы — хилые городские дети — застыли, пораженные очевидностью победы жизни над смертью. От земли, от солнца, от луга веяло прощением и лаской. Именно в тот миг я поняла, что не убивала. Потому что никто, никто в мире не может отнять жизнь — даже ударив по ней палкой с гвоздем. «Мы что, не пойдём сегодня туда?» — спросила Рыжик. «В другой раз...» — лаконично ответила я и незаметно отбросила палку. Потом освободившейся рукой взяла Рыжика за руку. Мы снова шли — долго-долго, ведь так много мест на свете, где нас, может быть, давно уже ждут. На самом деле, так оно и было — нас ждали. Только мы еще не знали, что это Бог.

У писателя Владислава Крапивина есть повесть «Оранжевый портрет с крапинками» — там про пацана, который мечтал о Марсе и однажды туда попал. Хорошая книга, настоящая. Для нас, малолетней братвы, рожденной в СССР, который вскоре благополучно распался, христианство было как раз таким Марсом. Вы спросите: это что, все пионеры Союза мечтали в детстве стать христианами? А я вам отвечу на это: «Вы видели среди детей хоть одного стопроцентного атеиста?»

Ну так вот. В девятнадцать лет нас с подружкой Зоей послали в лагерь для одаренных подростков. Лагерь находился в Суздале, юные музыканты занимались там целыми днями с известными профессорами, а по вечерам давали концерты. Мы с Зойкой, посмотрев на все это дело, возблагодарили Бога, что мы не музыканты, а поэты. Мы могли шляться где хотели — главное, чтоб к отбою были на месте. Скучать не приходилось — купались, рассматривали заброшенные храмы и часовни, которых в городе в ту пору было в избытке... Обычно мы ходили вдвоем, а в тот день я почему-то отправилась одна. То ли мы поссорились, то ли еще что-то — короче, пошла я одна. Иду-иду, смотрю: стоит Храм. С крестом, как и положено, но издали видно, что заброшен. В окнах нет стекол — только ржавые решетки, вокруг заросли крапивы в человеческий рост, ящики какие-то свалены — видимо, от

овощей или фруктов, штукатурка со стен облетела, наверное, еще в прошлом веке... Отыскала я дверь, даже пробралась к ней, подергала — заколочена. Обошла кругом. Жаль, думаю, окошки так высоко — ведь не ухватишься и не заглянешь. Хотя почему не заглянешь? Поставить эти ящики друг на дружку — и распрекрасно заглянешь. Поставила — и, хоть с трудом, но добралась до окна. Оно, по счастью, широким оказалось — я легко улеглась животом на теплый от солнца камень и, придерживаясь за решетку, глянула внутрь.

Внутри было не темно, а полусвет стоял — синий какой-то. Это от фресок, наверное, — в них много было синего цвета. Пола не имелось — осколки кирпичей, как всегда в заброшенных зданиях. Теперь я уже и не вспомню, в какой момент я услышала пение. Пел хор. Негромко пел, но и не тихо. Слаженно так пел — регент, наверное, хороший... Воцерковленная девочка, я не могла обмануться. Пели начало «Херувимской». Шла Литургия. Я попыталась выпрямиться, чтоб встать, как положено в этот важный момент службы, — и едва не упала вниз, в крапиву. Вцепившись в решетку, перевела на секунду взгляд в сторону — и тут-то вспомнила, что болтаюсь на окне заброшенного Храма. Какая Литургия?! Я же только что своими собственными глазами видела заколоченную дверь! В следующее мгновение, оцепенев от ужаса, я рухнула-таки вниз. Обстрекалась крапивой, поранилась в кровь о какие-то осколки, но не заметила этого и бросилась бежать без оглядки.

Пришла в себя я только на мосту, ведущем к лагерю. Спустилась под мост, плюхнулась в траву. Ладони сильно кровили, но подойти к речке и обмыть их не было сил. Я попыталась призвать на помощь логику: хорошо, может быть, в Храм есть другой, тайный, ход, о котором я не знаю. И какие-то люди пришли туда и служили Литургию... Ох, но я же видела отчетливо весь Храм. Там были кирпичи на полу и фрески на стенах, и еще этот странный синий свет. Но не было никаких людей. Да, но я же своими ушами слышала, как поют Херувимскую! Померещилось? Не может быть — я слышала ясно и отчетливо! Позвать кого-нибудь? Надо бы, конечно, позвать! Но вдруг, если все узнают про Херувимскую, в Храме перестанут петь? Да кто перестанет-то? А кто это пел? Побродив вдоволь в своих умозаклечениях по кругу, я поняла, что логика мне на этот раз явно не помощник. Но что было делать?

Страх постепенно оставил меня. Кругом трещали кузнечики. Я заставила себя встать, подойти к воде и опустить в нее окровавленные руки. Потом я

улеглась на живот, подтянулась вплотную к воде. Долго и жадно глотала реку — вместе с ряской и своим отражением. Порешила, что никому ничего не скажу. Я никому и не сказала. Я и сейчас не скажу. Вы же не знаете, где стоит этот Храм.

Пионерки и братья

В ранней юности, прочитав детскую Библию, я поняла, что мне очень жалко Каина. Нет, Авеля, понятно, тоже: это не дело, когда кого-то убивают. Но Каина, похоже, никто никогда не любил — ни брат, ни родители. А нелюбовь — страшная вещь. Если что и убивает нас на свете, то именно она.

Это все вот к чему. В школе я возилась с подшефными малышами. Я им прикалывала звездочки в первом классе и повязывала галстуки в третьем. Как ни странно, малыши меня любили и ходили за мной табуном. Точнее, пионерским отрядом. Когда они перешли в четвертый, я перешла в другую школу. Нет, конечно, поначалу все грустили и скучали: и я, и мои юные ленинцы.

Потом... потом меня настигла Лилька. Вообще-то ее звали по-другому, просто она не просила меня писать о ней рассказы. И это удивительно, что именно она: обычно такие — красивенькие отличницы из богатых семей склонны первыми забывать и учителей, и разных пионервожатых. Лилька уже в первом классе была такой красоткой, что прохожие на улице оборачивались и долго провожали ее глазами. По типуажу она, пожалуй, походила на Наталью Белохвостикову — звезду советского экрана. Курчавая, белокурая, с дивными зелеными глазами и очаровательным ртом. При этом единственная и любимая дочка у родителей — тоже, между прочим, красивых, как в кино. Мальчишки, понятно, влюблялись, девчонки мечтали дружить. А Лилька вдруг возмечтала обо мне. И стала звонить, заходить — словом, набиваться в подруги. Нет, я, конечно, тоже была рада ей, особенно поначалу. Но нас разделяло бурное море величиною в целых пять лет! То есть, когда мне стукнуло пятнадцать, ей — бедняжке Лиле — все еще было десять, и ни годом больше. Поэтому вскоре я начала бесцеремонно сворачивать наши телефонные разговоры. Ссылалась на безумную занятость и уроки.

Однажды ей все-таки удалось вытащить меня в гости. Жили они в соседнем доме, но, едва переступив порог Лилькиной квартиры, я открыла рот — даже при всем моем тогдашнем аскетизме: таких квартир я еще не видела.

Хрустали — картины — ковер с фиолетовыми бабочками — невиданные куклы в детской. И еще настоящий ананас в холодильнике, и еще много-много всего. Впрочем, удивления моего надолго все равно не хватило: ну, мало ли у кого какие колечки, сережки и ананасы, не станешь же теперь со всеми дружить!

Но Лилька не сдавалась. Лилька вскоре сказала мне, что у нее родился брат. Брат? У Лильки? Вот это уже интересно! Вот это новость так новость! Назвали Алешей. Он... такой хорошенький, он не хочет сосать соску, ему купили красного бегемота и крошечные джинсы — на вырост. Все эти истории — про соски и бегемотов — я готова была выслушивать теперь часами. И скоро — о, очень скоро! — поняла, что никакого брата, похоже, нет в помине. Нет, я очень хотела верить ей, ведь братишка — это так здорово! Я вот, хоть и здоровая девчонка, кажется, все на свете отдала бы, чтоб у меня родился братик! Но у меня не было брата, как не было хрусталей, картин, импортных кукол. Что ж, каждому свое.

Стараясь прогнать навязчивые мысли, я однажды завернула к Лильке без приглашения — ее дома не было, Лилькин красавец-папа настойчиво угощал меня дивными пирожными с половинками апельсинов. Но... ни коляски, ни кроватки. Никаких свидетельств того, что в квартире младенец. Ох, Лилька, Лилька... Я пребывала в терзаниях. И не только из-за обмана. Как же так, я сама — этими вот руками — повязала ей пионерский галстук! Пионерка и вранье несовместимы — ежу понятно! А теперь вот я покрываю ее, даю повод врать дальше, придумывать дурацкие истории про несуществующего брата. Каждый раз, вешая трубку, я торжественно клялась себе, что это в последний раз. Что завтра я непременно поговорю с ней, напомню про совесть, про то, что пионеры не врут. И — молчала. Как, наверное, одинока бедная Лилька в этой своей раззолоченной клетке, с родителями, похожими на голливудских актеров, если вот уже несколько месяцев с таким упоением рассказывает мне о брате, которого нет! Я так ничего и не сказала ей — просто не повернулся язык. Потом Лилька стала звонить реже и реже...

А потом, через два года, я узнала, что брат родился у меня. Точнее, у моего — еще не знакомого на тот момент — отца родился сын. Откуда я узнала, не помню, из телевизора, что ли... Мама тогда работала в школе, начались каникулы, поэтому некому было удивляться идиотскому крику, с которым я ворвалась в пустой класс: «Мама, у меня родился брат!» «Ну и что? —

спокойно спросила мама. — Что же теперь делать?» Я принялась размахивать руками. «Как что? Я приду к ним и скажу: покажите брата!» — «Да, ты придешь. А они милицию вызовут. И спустят тебя с лестницы. Потому что любой нормальный человек защищает свою семью...» Я побрела назад. Неужели и вправду вызовут милицию? Там же брат... мой брат! Я плакала целый день и половину ночи. А потом подошла к окну и подумала: «Как хорошо, что в этом темном городе у меня есть брат!» И тихонько засмеялась — как будто мой смех мог разбудить братишку, спящего в незнакомой чужой квартире.

Вы, наверное, хотите знать, что потом приключилось с Лилькой? Лилька родила дочку. В пятнадцать лет. Я случайно встретила свою бывшую пионерку — Лилькину одноклассницу, — она мне и рассказала. Лилька связалась с дворовой компанией, там был какой-то мальчик. Забеременела. Родители ничего не знали — до самых родов. Потом они уехали в субботу на дачу. А у Лильки начались родовые схватки. То ли она кричала громко — и соседи слышали, то ли... В общем, подоспевшая «скорая» увезла в больницу уже двух девочек. Я тут же разыскала Лилькин телефон. Голос у нее был неожиданно веселый. «Помочь? Нет, не нужно. Просто забегай в гости! Родители? Ну, мама, кажется, догадывалась... Замуж? Нет, сейчас не собираюсь — мне и так сложно, вот, может быть, позже...»

Когда — через два года — я вывезла свою новорожденную дочку на первую прогулку, то неожиданно встретила Лилькину маму — она гуляла с внучкой. Рассказала мне, что ушла с работы и вот — теперь с ребенком. Лилька учится на стоматолога и собирается замуж. Не за отца ребенка, а за другого. Я отметила про себя, что девочка хорошенькая, но куда ей до красавицы Лильки! Больше я почему-то их не встречала.

Лилькиной дочке сейчас, должно быть, уже лет девятнадцать. Мой брат тоже вырос — недавно я случайно увидела в фейсбуке его фотографию. До этого отец показывал мне какие-то снимки, но там он совсем ребенок, а сейчас уже взрослый парнишка — красивый, разбитной и несколько не похожий на меня в юности. Разве что глаза немного...

Я сейчас подумала вот о чем. Если бы Каин плакал, как я в ту далекую ночь, — он бы никогда не смог убить Авеля.

Трамвайное яблоко

Я уже давно могу позволить себе самые изысканные фрукты, но не люблю их и не ем. Из всех фруктов на свете мне интересно то самое библейское яблоко, которым Ева так легкомысленно поделилась с Адамом. Обычно этой истории придают какой-то нелепый физиологический подтекст, хотя ничего подобного в Библии не было, смысл первородного греха в том, что Ева и Адам ослушались Господа, нарушили Его волю. Да, имелось чудесное древо, на нем росли не менее чудесные яблоки, а вот прикасаться к ним, пробовать — ни-ни, сказано же. Нарушать волю Отца, который заботится о тебе, всегда скверно. Но с этого все, собственно говоря, и закрутилось. Если бы не это детское непослушание, не было бы ни Каина с Авелем, ни земли нашей, ни, понятно, нас. Не было бы радостей, горестей, болезней, выздоравливаний, разлук, смертей, яблок в августе. Потому что у Отца имелись другие планы. Возможно, все сложилось бы лучше, но это «лучше» мы бы никогда не узнали. Оно было бы не про нас. Какая нам разница? Так что хорошо или плохо знание — судите сами.

Однажды мы с моим воспитанником Максом ходили на Нагатинскую смотреть трамваи. Максу три с половиной года, и он обожает трамваи. Мне, его гувернантке, сорок один, я тоже люблю трамваи. В этом — да и во многом другом — мы похожи. Когда мы идем вместе, нас всегда принимают за мать и сына, хотя Макс синеглазый и русский, а я армянистая от рождения. Но не суть.

Рядом с трамвайной веткой, прямо над рельсами, стоят яблони, и с них всю сыплются яблоки. Конечно, дикие и неценные. Мелкие. Но в детстве я ела, в основном, такие. И все мои друзья ели такие, и все ребята с нашего двора — тоже. Потому что ничейных яблонь в округе имелось в избытке, а денег в семьях было всегда в обрез, на такую глупость, как фрукты, обычно не оставалось. Но никто не унывал, выкручивались, как умели. Обдирали яблони вокруг Борисовских прудов, партизанили в бескрайних садах «Коломенского». Однажды я пошла на неслыханную дерзость — залезла в сад позади храма Казанской Божьей Матери, который называли «архиерейским», — там тоже были яблони. Побродила по дорожкам, засыпанным белым песком, так сильно смахивающим на сахар, что хотелось набрать полную пригоршню и засыпать в рот, посмотрела на жирные, пахучие флоксы, похожие на восточных теток на воскресном базаре. Яблок на ветках не было — ни одного. То ли успели собрать, то ли их вообще там не

водилось, хотя и странно это, яблони же — вот они. Так и ушла ни с чем, опрокинув на прощание здоровую металлическую лейку с барахтавшимся в ней лягушонком.

Еще, помню, навещали мы братеевские огороды — где Москва-река делает крутой поворот направо и полным-полно больших и маленьких бухт. Однажды я увидела там, за одной из самодельных оградок, на кустах красные флаги. Сперва подумала, что почудилось или рехнулась вконец. Подкралась поближе — а там малина. Кустов двадцать, усыпанных спелой, крупной, уже разлагающейся ягодой. Ну, вернулась домой, дождалась вечера. «Пусть только хозяйева не вернутся, пусть», — шептала в сумерках, подходя к огороду. И что? Малины я тогда набрала столько, что и семью накормила от пуза, и варенье бабушка сварила, и руки еще долго малиной пахли — красота!

Теперь вы сами понимаете, что сложно мне спокойно пройти мимо дерева с дикими яблоками — плодами моего детства. Тем более, что одно яблоко — крупное, глянцевое, холодное — как будто само просится в руки. Ох, если бы я была одна! Схрумкала бы в один момент, и все дела. Но со мной Макс, а он наверняка потребует угостить и его. Мы ведь всегда делимся друг с другом: если я приношу булочку, Макс по-хозяйски отламывает себе половину, если я чищу для Макса банан, он точно так же отделяет половину и пытается запихнуть мне в рот: «ешь, это вкусно...» Макс сидит на велосипеде и внимательно следит, как я запихиваю уличное яблоко в карман куртки. «Давай его поделим и съедим!» — неуверенно предлагает он. «Дома...» — хмуро отвечаю я и берусь за ручку велосипеда. Макс поворачивается ко мне спиной. Я напряженно смотрю в его русоволосый затылок. Потом неслышно достаю яблоко и откусываю кусочек. Детство накрывает меня с головой. Конечно, нехорошо получается с Максом... Но как дать ребенку яблоко, все лето провисевшее в городе? Сколько трамваев прошло мимо него? Один вред. Дать — и попросить, чтоб не рассказывал маме? Ложь, хитрость. Нарушаем запреты, да еще и обманываем. Да и потом... Зачем, для чего Максу это дурацкое яблоко? В его распоряжении заграничные фрукты. А еще домашние учителя, домашние врачи, особняк под Москвой, огромный пруд с золотыми рыбками. Рай, короче. Я, между прочим, и без того прирастила его к развлечениям малолетних клошаров — он полюбил уходить со мной во двор пятиэтажки и распевать во все горло песни, однажды мы нашли там тележку, украденную из супермаркета и брошенную за ненадобностью.

Несколько дней я катала в ней Макса по крошечному двору пятиэтажки, он смеялся, мы хором пели «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»». Если он попробует это яблоко — он узнает вкус моего детства. Станет похожим на меня. Мы с тобою одной крови — ты и я. Я люблю Макса и хочу, чтоб он сделался похож на меня. Но отнимать у кого-то рай, чтоб он стал с тобой одной крови... это... это...

Я доедаю яблоко. Размахиваюсь что есть силы — и швыряю огрызок на трамвайные рельсы. Тут Макс оборачивается ко мне. «Что, вкусное было яблоко?» — тихо, безо всякого ехидства, спрашивает он. Значит, знал, чувствовал затылком, что я лопаю без него, не желая делиться? Знал — и ни разу не обернулся. Вот это выдержка. «Я куплю тебе петушка...» — обещаю я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Лучше пряник... — шепчет Макс. — Белочку...»

Мы доходим до кофейни, и я покупаю Максу пряник. Белочку. Он разламывает ее на две части — и половину протягивает мне. «Не нужно, ешь сам...» — «Чего ты? Вкусно же...»

Я понимаю, что счастлива. И потому, что пряник, в самом деле, оказался необыкновенно вкусным. И оттого, что Макс — совершенно не похожий на меня внешне — все же так сильно на меня похож. Из моего ребра — это уж точно. Или я из его ребра. Какая разница?

Галь-Валь

Во времена моего детства считалось, что школьными учителями становятся одни неудачники. Даже мамы с московской окраины, где я тогда жила, пытались всеми правдами и неправдами убереечь дочерей от учительской доли.

В десять лет я влюбилась в учительницу русского языка и литературы со странным именем Мира. Была она старше меня лет на пятнадцать, а значит, родилась где-то году в шестидесятом, когда девочек уже не называли Октябринами и Энгельсинами, но мода на чудные имена тем не менее сохранилась. Стоит ли описывать мои чувства? У всех влюбленных в любом возрасте они одинаковы. Нет смысла повторяться. Загляните в любой роман — и узнаете. В общем-то, ничего странного в этом событии не было:

маленьким девочкам свойственно влюбляться в красивых наставниц. Современная психология, говорят, это даже приветствует.

Дело все в том, что красивой Мира как раз не была. Она была... незащищенной, что ли? Высокая, худая, коротко стриженная, с комсомольским значком, приколотым на карманчик мальчишеской блузы, она походила скорее на не выросшую девочку, чем на учительницу. Однажды, заметив царапину на бледном Мирином запястье, мой сосед по парте Сашка Селезнев хмыкнул: «Нашу Миру кошка поцарапала...» Я глядела на царапину, как на тлеющий бикфордов шнур. Хуже всего было то, что я никогда, никогда не смогу ее защитить ни от кого и ни от чего. Мне захотелось быть с нею, быть ею, стать с ней единым целым. Я не понимала тогда, что в эти минуты так оно и было, — такова закономерность любви. На уроках я, понятно, не сводила с нее глаз. Если она замечала это и улыбалась мне — я улыбалась в ответ. Потом ее улыбки стали... не то чтобы натянутыми, но какими-то спрашивающими. Вот это уже совсем не входило в мои планы. И я пустилась на хитрость. Едва поймав ее взгляд, я скашивала в сторону глаза и слегка прикрывала их ресницами. Попробуй тут заметь в моем взгляде что-то такое!

Однажды Мира оставила меня после уроков переписывать сочинение. Теперь она сидела за своим столом и смотрела на меня требовательно, неотрывно. Я почти разозлилась. Сердце мое и без того громко болело — зачем еще добавлять? Наскоро дописав последнюю строчку, я бросила тетрадку на учительский стол и метнулась к двери. «Оля, подожди...» Она подошла ко мне. «Оля, я хочу спросить тебя... — я вновь почувствовала цепкий взгляд ее серых комсомольских глаз. — За что ты меня не любишь?» Высокая, нескладная девочка стояла напротив меня возле классной двери и нервно переступала длинными жеребеночьими ногами в красных босоножках. Я смотрела на ее босоножки. Мне хотелось кричать от невозможности сказать в этом мире правду! Мой затылок едва доходил до ее открытого локтя. Тут даже открывать рот было бессмысленно. Месяц спустя я перешла в другую школу.

Влюбленность еще долго вспыхивала во мне, но уже подобно сломанной электрической лампочке: внезапный жар и свет сменялись многомесячным холодом и тьмой — и обратно. Я думаю, что ее нет в живых, — мне так легче. Никогда не приходило в голову ее разыскать — да и зачем? Узнать, где и как

растит внуков пожилая женщина с выцветшими глазами? Нет уж, дудки! Она умерла — и точка. Ту, мою, сероглазую стриженую Миру забыли, наверное, все на Земле, а я отчего-то помню. Я точно знаю: она была моей первой любовью.

В новой школе у нас была физичка Галь-Валь. То есть имя-отчество у нее были вполне человеческими — Галина Валентиновна, но это пока она не встретила в жизни со мной и с моей подругой и одноклассницей Багирой, тоже крайне скорой на креативные решения и неумеренно острой на язык. Недолго думая, мы прозвали старушку Гальванометром. Сокращенно — Галь-Валь.

Детство Галь-Валь пришлось на военные годы — на блокаду и все прочие ужасности того славного времени, поэтому в начале девяностых ей никак не могло быть уж слишком много лет. При этом выглядела она совсем старенькой бабушкой — сутулая, седая, в вечно шаркающих домашних туфлях. «Ну что за перемены такие короткие, — доверительно жаловалась Галь-Валь нашему классу в начале урока. — Опять в туалет не успела сходить...» Хваталась за живот и выбегала за дверь. Окна в классе дрожали от хохота. Мы-то, в отличие от доверительной Галь-Валь, за перемену успевали переделать массу всяких полезных и бесполезных вещей — даже сбегать за школу выкурить запасливо стыренную дома сигарету. Впрочем, если над Галь-Валь и посмеивались, то чаще всего не зло. Слишком уж не располагала она к агрессии извне — морщинистая, подслеповатая, беспомощная. Она никогда не чинила нам подлянок, не занижала оценки. Однажды Галь-Валь ударила на уроке в воспоминания. Поначалу на это никто особо не обратил внимания. Но очень быстро в классе наступила абсолютная тишина. Лично я никогда в жизни не слышала больше такой тишины. Галь-Валь рассказывала нам про блокаду: «Сначала было холодно, а потом стало тепло, и я заснула рядом с мамой. И знаете, ребятки, такие хорошие сны мне снились, прямо хоть и не просыпайся вовсе! Все вокруг в цветах — желтых, красных, фиолетовых... Солнышко светит, тепло-тепло...» И, по всей вероятности, скоро, совсем скоро осталась бы малая девчушка в своих цветных снах дожидаться Второго Пришествия. Но тут в лицо ударил резкий луч фонаря. Снова стало холодно. И глухой, простуженный голос произнес откуда-то сверху: «Здесь два». Это заявила санитарная бригада, собиравшая по ленинградским квартирам трупы. Галочка что есть силы зажмурила глаза и прижалась к матери, чтобы согреться, но та была еще холоднее, чем воздух в

комнате. Ее невольное движение не укрылось от незваных гостей. Тот же хриплый голос поправился: «Один! Девочка жива...» Девочку быстро оторвали от мертвой матери, эвакуировали из осажденного города и поместили в детский дом где-то под Вологдой. «И там меня удочерила учительница, — улыбка слегка трогает старческие губы Галь-Валь. — У нее муж на фронте погиб, своих детишек не было, а я-то неприглядная, прозрачная совсем ходила, уж не знаю, чем я ей приглянулась...»

Галь-Валь еще долго рассказывает нам, какие неприятности она доставляла своей приемной матери, едва-едва войдя в полосу переходного возраста. Наотрез отказывалась называть удочерительницу мамой. Убегала из дома. Грубила, срывалась на крик (глядя на Галь-Валь, даже на нас, окраинных обормотов, никогда не повышавшую голос, в это невозможно было поверить). Несколько раз соседи видели девчонку с сигаретой, сигарету отбирали, притаскивали за шиворот к матери. «И вот однажды мама моя сказала: «Ну, давай с тобой поговорим по-человечески». И с тех пор я совсем другая стала...» О чем уж там «по-человечески» говорили одинаково измочаленные войной женщина и ее приемная дочка, я не знаю. Хотя Галь-Валь, наверное, рассказывала и об этом, просто я забыла. Но думаю, что доброту, порядочность, любовь к нам — шпанистым, изначально любовью обделенным — Галь-Валь переняла именно у той солдатской вдовы, удочерившей в войну чужую прозрачную девочку — ленинградку. Ведь все в мире имеет причину и следствие — это даже мы в свои невеликие годы понимали четко.

Я считаю учителей самыми счастливыми и удачливыми людьми в мире. Любых учителей. А своих — особенно. Им была отмерена не одна жизнь, а тысяча жизней. Они перебрасывали себя через собственную смерть так же легко, как я подростком перебрасывала мяч через волейбольную сетку. Они выиграли сражение, дав всем — и чужим, и близким — фору в сто очков. Они не догадывались только об одном: потенциальным победителям в этом мире всегда приходится труднее, чем побежденным. Зато победителей как будто бы не судят. Я точно знаю — не судят.

Элвис Пресли и зеленые ежики

В жизни я была по-настоящему пьяна всего четыре раза, и тут виноват ежик. Я вам сейчас объясню. Мне было четыре с чем-то года, на прогулке мы с

бабушкой встретили ежа, он шмыгнул от нас в траву. Я орала и топала ногами, а бабушка обнадеживала, что ежик никуда не денется — мы увидим его завтра, когда пойдем гулять. Назавтра задождило, и гулять мы не пошли, бабушка прилегла после обеда отдохнуть, было скучно. Я послонялась по квартире, потом добралась до кухни, где за огромной черной табуреткой стояла целая батарея пустых бутылок. Присев на корточки, я принялась разглядывать яркие наклейки на боках этих диковинных зеленых рыбин. И — о чудо! На дне почти каждой из них плескалась темная вода. Или не вода? Я потянула носом — пахло не похоже ни на что в мире. Набралась храбрости — и глотнула. Внутри стало горячо и непонятно. Я засмеялась и потянулась за второй бутылкой. Я не помню, когда появился ежик, — пахучая клейкая жидкость непонятным образом приблизила меня к нему — далекому, прекрасному и самому желанному в мире. Но отчетливо знаю: ежик был. Ползал между бутылками, дразнил меня своими колючками — почему-то зелеными. Маскировался, может? Нашли меня через час — я крепко спала рядом с опрокинутой табуреткой, крепко сжимая в руке горлышко пустой бутылки из-под портвейна.

Это был первый раз, во второй раз я напилась в восемнадцать лет, когда умерла мама, в третий — через три года, в каком-то кельнском кабаке, в компании местной богемы, и в последний — этой осенью. Но я, как всегда, опережаю события.

После похорон мамы вдруг выяснилось, что у нас с сестрой в квартире просто склад винно-водочной продукции. Кто и зачем приносил все это добро в дом, где в живых остались всего-навсего две небольшие девчонки, — я не знала тогда и, уж конечно, не знаю теперь. В один из дней я вдруг поняла, что стала взрослой. Взрослые все пьют — это я тоже знала. И откупорила бутылку водки. Глотнула, потом еще. Потом мне захотелось, чтоб мама — если, конечно, эта хваленая вечная жизнь на самом деле существует — дала о себе знать. «Мамочка, пожалуйста, если ты есть, качни люстру!» — сказала я шепотом. Села на ковер, прислонилась к стене, зажав ногами бутылку. Водочная емкость была уже почти пуста, когда на пороге квартиры появилась судьба — в лице сестренкиной классной руководительницы Ирины Николаевны (между собою мы звали ее «Николавнушка», и так зовем до сих пор). К тому часу качалась уже не только люстра — вся комната раскачивалась, точно во время землетрясения. Николавнушка — жена

пьющего мужа — мигом поняла, в чем дело. Перетащила меня на кровать, отхлестала по щекам, а потом, кажется, заплакала.

Ну вот, а в Кельн я попала благодаря студенческому обмену. Подружилась там с семьей русского художника-эмигранта Игоря Ч. Игорь с женой однажды пригласили меня на выставку — такие выставки часто проходили в подвальчиках и мансардах на берегу Рейна. Мы выпили шампанского, потом еще с кем-то знакомились, потом все вместе — большой, разномастной компанией: художники-поэты-какие-то красотки — отправились в полутемное кафе. Там во всю стену был портрет восхитительного плейбоя в джинсах — и я мгновенно влюбилась. Хотелось приблизиться, прикоснуться, присвоить его — во что бы то ни стало. Парень загадочно молчал, глядя в мое разгоряченное алкоголем лицо. Какая-то девушка — рыжеволосая и худенькая — под села ко мне, взяла за руку и сказала по-русски, с сильным акцентом:

— Оля... тебе хватит пить...

— Кто это? — я по-прежнему смотрела на мускулистые плечи плейбоя.

— Это? Это Элвис Пресли, — девушка сжала под столом мою руку, я не отняла ее, но и не ответила на пожатие. — А меня зовут Лиза...

Я впервые посмотрела на нее. Кажется, она была красивой — распущенные по плечам волосы, веснушки, белое, темноглазое лицо.

— Лиза? Мою маму звали Лизой. Слушай... мне нужно, во что бы то ни стало, найти этого человека.

— Оля... он уже умер. Хочешь колы?

— Не хочу. Хочу лечь.

Она придвинулась ко мне, и я опустила голову на ее плечо. Потом много раз я бродила по берегу Рейна, забредала в разные кафе, но так и не нашла своего Элвиса. Спросить у друзей почему-то стеснялась.

А в последний раз вышло совсем по-идиотски. Я возвращалась с дачи, и навигатор, в объезд пробок, почему-то повел меня через подмосковный поселок Кратово. Там жила женщина, которая хотела меня удочерить после смерти мамы, но не удочерила. Она была полной, темноглазой, с короткой стрижкой и милым, выразительным, еврейским лицом, еще у нее, кажется,

подрастал маленький сын. Где именно она жила? На какой-то из этих улиц под высоченными соснами, название такое... коммунистическое — то ли улица Ленина, то ли Карла Маркса, а может, Советская? У обочины горел костер — как и тогда, почти четверть века тому назад. Я остановила машину, вышла, протянула руку к огню — и даже не почувствовала, что закололо ладонь. Пахло яблоками, лаяли собаки, темнело и холодало... вот и осень, кажется — откуда взяться теплу и свету? Я села в автомобиль и погнала в Москву. Дома было тепло и сумеречно, заждавшийся муж встретил меня, предложив согреться каким-то зеленоватым напитком из красивой бутылки.

— Вино. Из кактуса. Называется «текила», — гордо пояснил он.

— Из кактуса? — переспросила я. — Прелестно. То, что нам сейчас нужно.

И накатила целый стакан ядовито-зеленой, ежово-колючей жидкости. Муж, зная мое отвращение к крепким словам и напиткам, с удивлением и некоторой тревогой созерцал, как я медленно, неотвратно вливаю в себя текилу. Что я в тот вечер творила в фейсбуке — теперь уже известно одному Богу. Но не только. По словам очевидцев, с трудом дошедших наутро до моей несчастной похмельной головы, битый час уговаривала заслуженную преподавательницу Литинститута — приятную во всех отношениях даму шестидесяти с чем-то лет, к тому же супругу пожилого священника — вот прямо сейчас, этой же ночью, ехать со мною кататься на мотоцикле по Переделкину. Почему именно на мотоцикле, а не на межпланетном лайнере, — хоть убейте — не помню. Вроде бы даже несчастная женщина — конечно, не подозревая, что я нахожусь под несокрушимой властью зеленых ежиков, — почти согласилась на эту немыслимую затею, а впрочем, не берусь утверждать наверняка. Одно знаю точно: дама, несмотря на почтенный возраст, была на диво хороша собой — белокурая, с синими глазами, совершенно не похожая на мою незадачливую удочерительницу из ранней юности. Хотя, возможно, в этот раз я — именно что — шла от противного...

Бабушка и самолет

Я про этот случай почему решила рассказать? Старшая дочка напомнила. На днях ей задали сочинить рассказ, темой которого должен был стать случай, изменивший жизнь семьи, — и все это на английском. Правильно, хватит дурочку валять, через год ЕГЭ. «А если я расскажу про бабушку и самолет?» — задумчиво произнесла дочка. Историю «про бабушку и самолет» она

слышала от меня еще в раннем детстве, а тут вот выдала... в самую точку, минометчик! Собственно, героиня этой истории мне бабушка, а дочери — прабабушка, но она привыкла говорить вот так, моими словами, поскольку «бабушку Веру» вовсе не помнит: немного разминулись они, дочь родилась через шесть лет после бабушкиной смерти.

Короче говоря, случилось это в сентябре сорок первого года. Под Москвой, понятно, стояли немцы, бабушка — в то время двадцатишестилетняя аспирантка — трудилась на химическом заводе, и вот с этого завода отправили молодежь помочь колхозу, задыхавшемуся, как видно, без рабочих рук, которые — вместе с их владельцами — были поспешно мобилизованы и занимались теперь на фронте совсем другими — грозными — делами. В тот день все снопы были довязаны, кроме одного, последнего, и заводская молодежь гурьбой отправилась на обед, а бабушка осталась прикончить этот самый несчастный сноп. Примерно в такое время над полем всегда пролетал советский почтовый самолет, поэтому бабушка не удивилась и не испугалась, когда в небе послышался рокот мотора. Да что там не испугалась — она даже головы не подняла, всецело поглощенная своим немудреным делом, а когда подняла, то ахнула и почти без чувств повалилась в траву. Самолет уже был над ней, тень крыла упала на сноп, а на крыле, на крыльях то есть, чернели немецкие кресты. «Не знаю, почему он меня не убил... — говорила аспирантка Верочка, когда она была уже не Верочкой, а моей бабушкой — шел ей седьмой десяток. — Запросто ведь мог нажать на гашетку...»

Конечно, мог бы нажать. Мог. Но не нажал. И Верочка осталась жива и дожила до лет весьма преклонных, родила и вырастила красавицу-дочь — мою маму, а потом родились мы — я и сестра, и сестру называли Верой — в честь бабушки. А ведь если б этот немецкий летчик выстрелил тогда — не сидела б сейчас моя дочь за уроками, не составляла бы рассказ про бабушку и самолет. «Может быть, разведчик тишину не хотел нарушать?» — предполагала бабушка тогда, в моем детстве. Нет, бабушка, нет. По другой причине. А может быть, я просто все выдумала — но мне хочется в это верить.

Слушай, Ганс! Или Ханс! Или Фриц, или... кто знает, как звали тогда всех этих немецких мальчиков. Моей бабушки, в которую ты не выстрелил тогда, давным-давно нет на свете, да и тебя наверняка тоже нет, но это и не важно

теперь. Знай, сколько я помню о тебе, а помню я всю жизнь, всегда что-то мешало мне видеть в тебе врага. Скорей, я думаю о тебе с непонятной мне самой нежностью, которой я стесняюсь, как подростки, бывает, стесняются своего тела, — и так будет до конца моих дней. Я не знаю, как сложилась твоя судьба: в московском небе шли тогда ожесточенные бои, да и все военные годы они шли — хотя уже и не в московском небе. Мне почему-то хочется думать, что ты остался жив. Что ты не убивал наших, а, скажем, попал в плен. Что тебя не загрызли овчарки в лагере для военнопленных и не прикончил уставший от войны и работы конвоир. Ты вернулся в свою Германию, женился на любимой девушке, а сейчас твои правнуки уже топают по утрам в школу. Как и мои дети — правнуки аспирантки Веры, которую ты не убил, — они шагают по утренним кварталам и в школьной раздевалке дуют на красные замерзшие пальцы. Мне, собственно, нечего больше сказать тебе.

Кроме одного. В память о тебе я стараюсь никогда не нажимать на гашетку. Я предпочитаю уходить прочь. Нет, ни с какой-то там гордо поднятой головой — а с самой что ни на есть опущенной, с красными от стыда ушами — я ведь очень тяжело расстаюсь с людьми, Ганс, это правда. Я не ношу оружие — и это тоже правда: в молодости носила, а сейчас нет. Но мое оружие — слово. И оно может бить больнее, а уничтожить человека — быстрее и безжалостнее, чем какая-то там допотопная самолетная пушка. Но я помню о тебе, Ганс! И я поступлю, как ты, обещаю. Можешь спать совершенно спокойно.

Когда плачут мужчины

Иногда поражаешься, как все переплетается и повторяется в мире. Не живешь, а распутываешь бесконечный клубок проводов.

Был, кажется, сентябрь сорок пятого победного года. В обычной московской школе сидели за партами обычные мальчики лет тринадцати-четырнадцати. И вот мальчик Ваня нагнулся к своему портфелю, а еще через минуту в классе вновь началась война. Резко запахло сушеной гвоздикой, потом раздался треск, и класс озарился небывалым, ровным светом, как будто за окном зажегся прожектор. Кто-то крикнул: «Ракета!» Да, ребята были детьми войны и сразу поняли, в чем дело. Конечно, Ваня поджег не ракету, а лишь расковырял осветительный элемент, иначе этот белый ракетный свет мог

оказаться последним на свете для доброй половины класса. Но взрыва не последовало. Ваню — бледного, без единой кровинки в лице — утащили к директору, класс проветрили, снова раскрыли учебники. Кто-то из мальчишек спросил учительницу: «Дарья Петровна, что будет Ване?» Учительница отвернулась, ничего не ответила — и ребята поняли, что дело плохо. Исключат Ваньку из школы, а может, и в колонию засунут — нехитрое дело. Снова спросили: «Что будет с Ваней?» — уже, скорее, риторически, не надеясь на ответ, имея в виду не сегодняшний случай, а всю дальнейшую Ванькину жизнь, которая даже теперь, на фоне недавно пережитых военных бед, представилась всем сплошным беспробудным кошмаром. Учительница повернулась к своим взволнованным подопечным:

— Ничего не будет. Не в себе он. Вчера мне звонила Ванина мама. Они получили похоронку: отец Вани умер в госпитале.

Класс ахнул. Похоронки успели получить многие. Но Ванька... он ведь даже не плакал. Просто молчал два дня — тут все совершенно отчетливо вспомнили, что Ванька, действительно, за эти дни не проронил ни слова. А потом принес и сжег на уроке ракету.

Об этом случае, рассказанном мне знакомым профессором МГУ, я думала, когда сидела в экзаменационном автобусе. Наша группа сдавала «город», по одному мы заходили в кабину, проезжали несколько метров — и выходили с несданным экзаменом: молодой майор ГИБДД, очкарик с интеллигентным, по-мальчишески пухлым лицом, старательно валил всех до единого. Каждый входил обратно в салон с красными от стыда и мороза ушами и произносил одно-единственное слово: «Разметка...» Да, утром прошел сильный снегопад, разметку засыпало, но мы — будущие водители автобуса — обязаны знать и чувствовать ее под толстым слоем снега. К тому же недавно в городе было несколько тяжелых аварий, вот автоинспекция и лютует: стремится показать, что в водители у нас берут только лучших из лучших. Но и наши лучшие водители тоже возвращаются с красными ушами. Я смотрю на них. Нет, никто не плачет. Кто-то ругается, кто-то растерян, другие угрюмо молчат, отвернувшись к окну. На стажировку мы теперь попадем неизвестно когда, пересдачу наверняка назначат недели через три — не раньше. Среди наших ребят нет мажоров — такие близко не подходят к учебному комбинату «Мосгортранса». Родители почти у всех умерли давным-давно, у многих семьи, дети, которых надо кормить, кто-то, как мой друган Саня, и

вовсе один, как перст. Настоящая война идет на свете. И вернуться с нее можно только с победой или не вернуться вообще, но про это нам думать пока не хочется. И вдруг Санька поднимает голову: «У меня есть петарда, еще с прошлого года лежит... Хорош кукситься, матросы, а то, чего доброго, заревете всей группой. Давайте взорвем ее!»

— Как, прямо в автобусе? — скептически спрашивает кудрявая красавица Таня, моя подруга.

— Зачѐм в автобусѐ? — подмигивает Тане Рустам. — Автобусы — это святое. На пустырэ, за забором ГИБДД...

Петарду мы, конечно, взорвали. Ух, как она затрещала, как грохнула, какой дивный сноп искр выпустила в мрачное небо! Все засмеялись, а мы с Таней захлопали в ладоши. Эти искры, грохот, дым заменили нам слезы. Слишком мало оставалось у нас сил, чтоб делиться с этим миром своими слезами. Мы отсмеялись, пожали друг другу руки — и разбрелись, разъехались в охваченный снежным безумием вечер. Ближе к ночи мне позвонил Саня.

— Не спишь?

— Нет. А ты?

— Тоже нет. Тринадцатого пересдача.

— Знаю. А я отправила нашему руководителю группы предложение дружить на фейсбуке.

— Ну? А он?

— Не ответил. Правильно, зачем ему в друзьях чайники вроде нас?

— Расслабься. Наверно, не видел еще. Он хороший мужик. Небось, все ему доложили уже про сегодняшнее. Да и фиг! Зато мы петарду взорвали. Живем!

— Да...

Ночью мне приснился сон. Я выхожу на залитый солнцем незнакомый двор и вижу автобус. Подхожу к нему — и дверь кабины открывается передо мной. Я привычно запрыгиваю в кабину, плюхаюсь в водительское кресло — и слышу тихое, мелодичное шипенье закрывающейся двери. Я не успеваю выжать педаль — машина трогается без моего участия, набирает скорость, и скоро под бортом оказываются только небо и облака. Я смеюсь, но вдруг

вспоминаю о наших ребятах, которые спят сейчас где-то в московских квартирах и, наверное, плачут во сне. Ничего, во сне — это не считается.

Ну вот, а мальчику Ване тогда, действительно, ничего не было. Он благополучно окончил школу и стал военным моряком. И нам тоже ничего не будет, ребята. Пути-дороги, холода и тревоги, конечно, не в счет. Мы станем водителями, будем управлять огромными «Лиазами», которые отчаянно тяжело поддаются управлению, как и вся наша жизнь. Но вы точно справитесь. И я справлюсь. Что ж нам теперь, плакать, что ли?

Новый роман

В этом рассказе я назову ее Соник — только потому, что это малоизвестное детское прозвище никто, кроме меня, не помнит. Было и другое — известное, но история почти конфиденциальная, нечего языком трепать. Впрочем, Соник, узнав, что я собираюсь написать о ней рассказ, долго смеялась и дала добро.

Короче говоря, я намылилась в театр и накануне заехала в гости к Соннику. Соник — единственная из моих друзей, к кому можно забредать вот так, без звонка и предварительных церемоний, не боясь, что хозяйка окажется не дома. Соник всегда дома. Она много лет уже болеет, из квартиры почти не выходит: не слушаются ноги. Живет с мамой-пенсионеркой, пишет фантастические романы — и совершенно довольна жизнью. Когда я прихожу к ним, то всегда оказываюсь в нашем с Сонником детстве: в квартире, в комнате ну ничегошеньки не изменилось с тех пор. Ковер на стене, ходики, статуэтки, аквариум, детские рисунки, нарисованные еще нами — школьницами. Да и сама Соник все та же, что в детстве: ни одного седого волоса, ни одного вставного зуба, ни одной морщинки. Если бы не больные неподвижные ноги, можно решить, что перед вами девочка-подросток. И мама Соника, кажется, не особо изменилась — разве что поседела. Время вообще — человеческое существо: ко всем относится по-разному, есть у него свои любимчики и свои изгои.

Но это ладно. В театре, куда я собралась, служил Соников бывший одноклассник — причем, моим одноклассником он при этом как раз не был: я пришла в их школу в десятом классе, а он ушел после девятого. Стал артистом, приобрел даже некоторую известность. Соник показывала мне его фото в интернете — красивый, крупный брюнет с подкрашенными глазами. И

вот тетя Женя, мама Соника, услышав про театр, пустилась в воспоминания об этом самом Павлике-артисте: и недотепу-Соника он никогда не обижал, и вообще такой интеллигентный мальчик из такой замечательной семьи, а какая у него была красавица-мама, жива ли?

И тут Соник говорит:

— Слушай... а ты можешь передать ему от меня букет цветов и записку?

Я фыркнула:

— На фиг? За какие такие заслуги? Подумаешь, «не обижал». Я тебя, между прочим, тоже не обижала в школе, а ты — меня, ну, и где мои цветучки?

— Да не поэтому... просто. Чтоб знал, что я помню его.

— А на хрена это? Что за дурацкая сентиментальность? Да и как я передам? Твой Павлик, чего доброго, решит, что я втрескалась и бегаю за ним.

— Не решит. Я подпишу записку. И ты скажешь, что это от меня. Что тебе, сложно, что ли?

— А... может, ты сама ему передашь? Поедем вместе в этот театр, возьмем такси, с билетом как-нибудь разберемся.

— Нет. Не высидеть мне три часа — спина болит так, что спать-то не могу.

Раз так, ладно... Соник быстро накатала свое послание. Я купила большущий букет ярко-оранжевых гербер. Обычно мне не нравятся герберы — неживые какие-то, точно кошмарные пластмассовые цветы с кладбища. А эти... наоборот, такие живые оказались, так и трепетали, так и горели мягким, ровным светом, точно карманные фонарики. Ни за что бы не отдала их незнакомому Павлику, да что поделаешь, раз уже пообещала?

На сцене Павлик играл опереточного юношу Тони из буржуазной семьи — рассеянного и влюбленного, в дурацком клетчатом пиджаке. Играл он лучше всех артистов — преображался так, что сам Станиславский со своим «не верю» уж точно молчал бы в тряпочку. Высокий и полноватый, он виртуозно танцевал, пел, шутил, импровизировал. Зал истоиво аплодировал ему, я тоже, забыв недавнюю неприязнь. Букет гербер подрагивал на моих коленях, в кармане пиджака ждала своего часа Соникова записка. После спектакля я без труда разыскала гримерку Тони-Павлика. Думала, что там наверняка толпа восторженных поклонников, я уж как-нибудь суну букет и записку и уйду

незамеченной. Не тут-то было: Павлик был один, сидел на каком-то диванчике в глубокой задумчивости. Капельки пота блестели на его напудренном лбу. Он, кажется, совсем не удивился, когда я вошла, не пошевелился даже. Я кашлянула:

— Павел? Я вам тут цветы. И вот... еще записка, — я неловко сунула цветы Павлу, все-таки вставшему мне навстречу, протянула записку. — Просили передать... ваша давняя знакомая.

Павел развернул записку, подкрашенные брови его взлетели вверх, точно опереточные стрижи.

— Она здесь сейчас? А почему... вы? Где она?

Я посмотрела на тоненькое обручальное кольцо на Павликовом безымянном пальце. Да, тут все хорошо, семья, детишки, небось, и полный зал восхищенных людей. А Соник пишет свои романы. Которые никто не читает, кроме меня и ее мамы. И не может выйти из дома — с дивана поднимается и то с трудом.

— Она в командировке. Некогда ей по театрам. Ездит по всему миру... — непонятно зачем соврала я.

— В командировке? А... она же болела... — рот Павлика открылся по-детски.

— Выздоровела, — лаконично ответила я. — Теперь занимается дизайном интерьера. У нее машина... эта... как ее?

— «Мерседес»? — простодушно спросил Павлик. Глаза его заблестели.

Все-таки он был фантастически красивым, и я, когда отчаянно врала, поневоле смотрела на его лицо.

— «Инфинити». Куча романов, трое детей...

Откуда-то из-за неплотно закрытой двери позвали: «Павел!»

Павел быстро протянул мне руку, я пожала ее.

— Огромное спасибо, что зашли! Передайте, пожалуйста, ей... — он перечислил все, что нужно передать Соннику. Мы распрощались, и я вышла в метель, фонарные отсветы, уютный зимний полумрак. Поняла: мне больно не оттого, что красавец Павел наведет справки, и узнает о моем вранье. А оттого, что не будет он ничего узнавать. Не подумает даже. Передарит

оранжевые герберы какой-нибудь молоденькой приятельнице-артистке и сегодня же позабудет об этом случае.

Едва дотащившись до дома, я позвонила Сонику.

— Приболела я, Соник, не попала на спектакль. Так что, извини, поручение твое не выполнила. А записку...

— Да черт с ней, с запиской! — перебивает меня Соник. — Выкини на фиг — и все тут. Ты чем заболела? Слушай, если тебе скучно, я могу прочитать главу из нового романа!

— Что дело — то дело, давай, читай!

И Соник начинает читать мне свой новый роман.

Рапорт, Патриарх и ландыши

По тому пассажиру 112-го экспресса сразу было видно, что он влюбленный. Такой отсутствующий взгляд бывает только у влюбленных да еще у контролеров в автобусе, когда они уже проверили билеты и сидят в ожидании остановки. Я ехала от Капотни, рейс был самый ранний, и в автобусе нас трое: эта ранняя пташка с букетом, мужик в черной кепке с усами да я — за рулем. У экспресса несколько остановок в Капотне, а следующая уже конечная — метро: между микрорайоном и метро остановок нет: экспресс же. И вот тормознула я на последней капотнинской остановке — той, что возле стадиона — проехала метров пятьсот и уже начала набирать хорошую скорость, как этот сомнамбулка в капюшоне вскакивает, бросается к кабине и повелительно так говорит: «Остановите автобус!» Понятно, проворонил остановку — за мечтаниями-то. Я разозлилась. Я восхитилась про себя. Он сказал это так, будто вообще меня не видел. Так хирург, ослепленный лампами над операционным столом и видя перед собою только развороченную плоть, повелевает куда-то в пространство: «Скальпель!» Я могла бы заявить, что веду экспресс, но это чудо природы просто б не услышал — он уже нетерпеливо повернулся к двери и перебирал длиннющими худыми ногами в дурацких джинсах, открывающих беззащитные костлявые щиколотки — это на морозе-то!

Я сбавила скорость, остановила автобус, открыла и закрыла переднюю дверь. И собиралась уже тронуться, когда услышала: «Минуточку...» Повернула голову и встретилась взглядом с усачом в черной кепке — а я как-то и забыла про него! Удивительно, почему мне всегда кажется, что люди с близко посаженными глазами обладают каким-то гипнотизирующим талантом? Другому я бы хмуро ответила, что никаких минуточек, и без того опаздываю.

— Это ведь экспресс? — начал мужик свой допрос. — Почему остановились в неполюженном месте?

Все, попала! Это проверяющий, которых в последнее время появилось, кажется, больше, чем водителей. И охота была в такую рань...

Я ничего не ответила. Отвечать было нечего: остановила экспресс, нарушила должностную инструкцию. Значит, жди рапорта — уж как пить дать.

— Где ваш бейдж? — поинтересовался мужик и достал из нагрудного кармана пальто аккуратный блокнот.

— Под стеклом, вы смотрите на него... — буркнула я, отвернувшись и выжала газ.

Надо заметить, что водители автобуса постоянно ходят под угрозой рапорта, у нас слишком много разных «нельзя»: нельзя курить на конечных (а как быть, если почти все мы — злостные курильщики?), нельзя оставлять автобус с включенным двигателем (а если перерыв между рейсами пять минут и тебе нужно купить кофе в автомате?), нельзя работать на линии с включенным котлом (в минус двадцать в салоне без обогрева котлом через полчаса — уже настоящий ледник), и так далее, и так далее. На случай разных «если» и набрали проверяющих: не поймали — хорошо, поймали — рапорт, вызов в колонну, сочинение объяснительной, неременный штраф, а то и похуже.

Я хмуро смотрела на дорогу и, честное слово, если бы не эта всепоглощающая белизна за окнами, ни за что не вспомнила бы о той дурацкой истории, случившейся лет десять тому назад и изрядно рассмешившей весь православный театр, в котором я тогда трудилась завлитом. Теперь мне немного стыдно, ведь кому-то тот случай мог стоить неприятностей на службе или даже снятых на время погон, но тогда я была невероятно горда собою и — что греха таить — веселилась вместе со всеми.

Короче говоря, это произошло, кажется, на открытии Рождественских чтений, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Или, может, вручали патриаршую премию особо отличившимся деятелям искусства — уже не помню точно. Ясно лишь то, что была зима и что на важном мероприятии с участием Патриарха присутствовало наше руководство — оно часто брало меня с собой на разные встречи.

Но, кроме Патриарха и нашего руководства, в зале церковных соборов в тот день — не очень-то памятный, как теперь выяснилось — была дама из Литинститута, наша бывшая преподавательница, которой я всегда при встречах — а встречались мы раз в год примерно, чаще не получалось — дарила цветы. В тот раз я раздобыла для нее живые ландыши. Вы, конечно, ждете, что сейчас я с придыханием начну рассказывать, какие были прекрасные ландыши? Да ничего подобного: ландыши как ландыши, просто в середине зимы. Я грела их под своей белой шубкой, да и вообще видок у меня был, наверное... буржуазный слегка: шубка с кружевом на манжетах, белые — на каблуках — сапожки да еще эти ландыши...

Я прошла в зал, не снимая шубки, потому что собиралась вручить цветы адресатке и смыться с торжества домой. Но не тут-то было: у самого входа, рядом со сценой, путь мне преградили два плечистых парня в серых костюмах.

— Простите... — как можно вежливее начала я. — Можно мне пройти и подарить вот эти цветы вон той даме, в первом ряду? Это моя преподавательница, у нее день рождения...

Про день рождения вранье, конечно, но куда деваться? Парни в штатском не менее учтиво объяснили мне, что туда нельзя, пока не уехал Святейший. И, не сговариваясь, повернулись ко мне спинами, закрывая проход. Я улыбнулась, кивнула и встала за парнями. Ну просто частокол кремлевский, до чего похожи — и костюмы, и фигура, и даже, кажется, цвет волос. Впрочем, цвет волос я разглядеть как раз не успела: в зале погас свет. Кажется, играл оркестр, но меня все эти шуберты сейчас трогали мало, я стояла вплотную к одному из парней и следила за каждым его движением. И дождалась-таки момента, когда парни расслабились или, говоря по-военному, утратили сноровку. И тогда я легко раздвинула их и бросилась вдоль первого ряда. Там сидели какие-то священники, но соображать, кто из них Патриарх, у меня не было времени, да и пришла я не за этим.

Моя преподавательница сидела где-то посередине, я успела вложить букет ландышей в ее удивленную руку, поймать совершенно ошарашенный взгляд молодых синих глаз. Дождаться, пока она придет в себя, я не могла: было опасение, что патриаршая охрана опомнится раньше. Возвращаться тем же путем не стала — ну их на фиг, еще оттащат на Лубянку и потребуют объяснений. Пошла вверх, через зал, к выходу. Вволю мы с ребятами в театре на следующий день поржали над моими приключениями!

Вспомнив про этот случай и даже ощутив отчего-то аромат ландышей в своей кабине, я ни на секунду не подумала, что вот де, поделом, тогда я допустила безрассудство в ущерб кому-то, а сегодня поплачусь сама, это справедливо, и все такое. И тогда, и сейчас я абсолютно далека от мысли сравнивать эти два эпизода. Рапорт я, как ни странно, не получила — не в этом дело. Просто знаете что? Шоферы обычно терпеть не могут белый цвет. А я все же думаю, что я его люблю. Потому что ландыши, и все такое. Это хорошо, что они были в моей жизни — ландыши в декабре!

Нож с кровостоком

Про августовский переворот уже никто толком не помнит, а я помню и ненавижу его за то, что он отнял мои первые деньги.

Моя мама работала тогда в журнале, журнал издал «левые» книжки, под названием «Новые законы России», и, чтоб слишком не тратиться на реализацию, предложил сотрудникам, у которых имелись дети-подростки, подрядить отпрысков торговать законами в переходе метро. Мне было пятнадцать лет, младшей сестренке — двенадцать, для полного и безоблачного счастья нам не хватало одного — карманных денег, поэтому мы согласились с радостью.

Не, не, не. Никаких душераздирающих рассказов про несчастных детей подземелья вы не услышите — даже и не надейтесь. Напротив, наше существование моментально превратилось в сказку, а сами мы зажили недостижимой и волшебной жизнью богачей. За два-три часа стояния в переходе на «Павелецкой» можно было заработать по двенадцать рублей на брата (ну на сестру, на сестру!). Бешеные деньги! Мы приходили туда с утра, когда народ валил на работу, и кричали звонкими голосами: «Новые законы России!» Милиция деланно отворачивалась. К нам подходили, дыша кто духами, кто туманами, кто перегаром. Восхищались, между делом, моей

смазливой физиономией, моей фигурой, часто оставляли сдачу («не надо, купи себе мороженое»). В своем коротком, застиранном платице я чувствовала себя почти народной артисткой — а что еще нужно отроковице для счастья?

Один только раз мы попали в историю: стояли себе, зазывали народ, и вдруг проходивший мимо толстомордый дядька в тельняшке крикнул мне: «Заткнись, шмакодявка!» Разве так разговаривают с богачками? Я в ответ тут же выдала длинную матерную фразу, из которой морячок явственно должен был уразуметь, куда именно ему следует пойти. Дядька круто развернулся, шагнул ко мне, схватил за плечо и так тряхнул, что в первое мгновение я подумала, что моя голова оторвалась и ударилась о противоположную стенку перехода. «Это ты мне, воину-афганцу, такие слова говоришь?» От толпы отделился какой-то парень, вырвал меня из когтей бравого моряка, бросив на прощанье: «Девочка, не надо вые****ться!»

Долго, очень долго потом друзья-приятели в нашем дворе выслушивали из моих уст захватывающую историю про то, как я обматерила в переходе воина-афганца, а незнакомый парень, точно прекрасный принц, меня спас.

Но не суть. Главной радостью все равно были деньги. Мы покупали сладости, я тут же приобрела себе в коммерческом киоске фасонистые электронные часики, а потом мы поднакопили немного и купили бабушке в подарок байковый халат. Расчудесный, красный, с желтыми розами. Он не линял, не трепался при стирке, бабушка носила его оставшиеся три года жизни, почти не снимая, — кажется, именно в этом халате ее и похоронили.

И вот одним утром — будь оно проклято — в нашу комнату вошла мама, окинула взглядом пачки «законов», приготовленные для продажи, и вдруг принялась запихивать их под сестренкину кровать.

— Мама, что ты делаешь? — почти с суеверным ужасом закричала я.

— В городе танки, военный переворот. Если найдут — будет плохо. Ночью вынесем это на помойку...

Мы с сестрой обалдело глазели друг на друга и на маму. Танки? Переворот? Ну раз переворот, то законы, понятно, больше не нужны: новая власть тут же накатает новые. А деньги... наши деньги? Как же они? Как раз денег-то, похоже, больше у нас не будет. Ужас и горе хлынули в меня, точно вода из шланга в пустую бочку. Выходя из комнаты, мама, между делом, сказала:

— По радио передали... На Форосе арестовали твоего деда и отца тоже.

Тут надобно сделать отступление. Мой дед, не подозревавший о моем существовании, занимал тогда в Кремле важный пост и числился фактически вторым человеком в государстве. То есть по происхождению я была почти что принцесса крови. Правда, незаконнорожденная. Узнав, что родичей арестовали, я испытала сложные чувства. Конечно, плохо, когда кого-то кидают в застенки. Но и незнакомый дед, и отец, с которым я познакомилась двадцать лет спустя, были для меня даже не людьми, а некими абстрактными вещами. Я их не знала — и, следовательно, не любила. А деньги... какой же дурак не любит деньги? Нет, я почти плакала... да и не совсем почти, если честно.

Сестренка уселась на мою кровать:

— Ты плачешь потому, что твоих папу и дедушку расстреляют танками?

Я ответила язвительно (я терпеть не могла сентиментальных людей):

— Я плачу оттого, что плакали наши денежки... Из танков разве расстреливают? Эх ты, шмакодявка! Танковый снаряд — он знаешь, сколько стоит? У этих повстанцев, чтоб им повылазило, денег на всех не хватит.

Я отвернулась и стала одеваться.

— В город все-таки надо выбраться... Танки посмотреть и вообще.

— А ты возьмешь меня с собой? — сестренка засуетилась возле стула с одеждой.

— Нет. Война — не детское дело. Сиди дома, а я вернусь и расскажу тебе про танки.

Она всхлипнула, но смотрела печально и понимающе. Потом вдруг спросила:

— А оружие?

Да, оружие, как это я забыла? Из оружия у меня имелся игрушечный маузер и настоящий перочинный нож — одно лезвие в нем было сломано, но я всем говорила, что это никакое не лезвие, это кровосток — разве не понятно? С маузером было солиднее, с ножом практичнее. Кто знает, вдруг в самом деле придется драться с повстанцами? Секунду поразмыслив, я сунула нож в карман джинсов.

— А тебя не убьют? — догнал меня уже в дверях комнаты голос сестры.

«На войне всякое бывает» — хотела ответить я сурово, но почему-то не ответила. Шмыгнула носом от жалости к себе, сказала мягко:

— Ну что ты! Конечно, нет! Я их сама всех убью за то, что с нами сделали. Смотри, какой у меня нож — с кровостоком!

Ну вот. Так и потеряли мы свой легкий, фартовый заработок. Остается только добавить, что в остальном переверот прошел прекрасно. Было много танков и людей, все вдруг стали дружны между собой и так никого и не расстреляли, и не убили, кроме трех несчастных парнишек чуть постарше меня. Парнишки тоже шлялись в тот день по городу и вместо приключений схлопотали по пуле — не повезло. Убитых хоронили как героев. Звучала грустная музыка, выступал Президент, и весь город плакал. Мы с сестрой плакали тоже.

Шестнадцатый парк. Рассказы водителя

Нас видно из темноты

Когда меня спрашивают — а спрашивают меня постоянно — почему это вдруг я решила в одночасье стать водителем автобуса, я пожимаю плечами. Решила — и все тут, о чем, собственно, говорить? Но я точно знаю: все началось с того дня, когда умер парень в зеленом свитере. Я тогда работала редактором детского журнала, офис располагался на Воздвиженке, и сам офис, и красивое историческое здание, где он находился, и все мы принадлежали очень серьезным людям, имевшим самое непосредственное отношение к Кремлю, который находился тут же рядом, в конце нашей улицы. За забором нашего двора было Министерство обороны, из него на Воздвиженку выходили красавцы-летчики с погонами — и я оказывалась внутри фильма «Два капитана»; однажды мой шеф, допоздна засидевшийся на работе, испугался до обморока, увидев ночью свет во всех окнах Министерства — он решил, что началась война.

На банкеты привозились разные разности из кремлевской кухни — и ребята-администраторы, с которыми я приятельствовала, щедро угощали меня тамошними пирожками — из неживого слоеного теста. Я смеялась и запихивала в рот пирожок целиком. Иногда в Дом приезжала бывшая первая леди — и я очень огорчилась, увидев ее в первый раз: мне казалось, что

первая леди непременно похожа на Марлен Дитрих или, на худой конец, — на дам Вертинского, а она оказалась совсем обычной женщиной, с добрым усталым лицом и стрижкой как у всех — точь-в-точь наша школьная учительница математики.

Вообще-то смерть витала в воздухе и до того дня. Дом на Воздвиженке охранялся вышколенными и безупречно вежливыми людьми в костюмах с иголки, сияющие мрамором и софитами этажи неслышно открывались и закрывались пластиковыми карточками — и никакая сила в мире не могла бы открыть без карточек эти засовы-запоры, похожие на двери закрытого крематория для избранных; наши лица, отображавшиеся на всех мониторах во время перекура, были лицами мертвецов.

Напротив нас — через Воздвиженку — находился Дом приемов, и когда туда заезжали одна за другой черные машины с тонированными окнами, высокий мужчина в костюме — совсем незаметный, несмотря на внушительный рост — заходил к нам и предупреждал, чтоб никто не подходил к окнам: на крыше соседних домов снайперы с винтовками. Я поначалу все равно лезла к окнам — нужно было посмотреть, какие у снайперов винтовки, а что меня застрелят — так это чушь, не будут же они открывать огонь через Воздвиженку! Наш главный художник, седой, усатый, похожий на старого профессора медицины, тогда сказал мне: «А знаешь, Оля, что случилось с твоей предшественницей? Она лезла к окнам — и ее убили снайперы, мозги валялись по всей редакции...» Все необидно и негромко засмеялись, я крепко выругалась про себя и отошла от окна. Мой коллега — верстальщик Пашка — клялся и божился, что под нами восемь этажей и дороги, которые ведут от министерства во все аэропорты страны, он горячился и доказывал, но Пашка любил выдумывать всякие штуковины — и я верила и не верила.

Ну вот, а в тот день — это был октябрь, самое начало, с утра пораньше мы с Антонычем из «Литучебы» отправились вниз — покурить и поделиться новостями, а там стояли два незнакомых парня в белых рубашках и неотрывно, точно их загипнотизировали, смотрели на роспись стены. В Доме на Воздвиженке то и дело проходили всякие семинары и тренинги, поэтому к чудикам, собиравшимся на практические курсы вроде «как стать миллионером?», все уже привыкли. Я покрутила пальцем у виска, Антоныч засмеялся, и тут мы увидели, что с минус-первого этажа совершенно

одинаковые парни в белых рубашках — близнецы они все тут, что ли? — несут дерматиновую скамейку. На скамейке кто-то лежал.

Тут уже покатались мы оба. «Пид*расы» — выдавила я новое для себя слово, но увидела, как внезапно побледнел Антоныч, выронила папиросу, а на скамейке неподвижно лежал полноватый парень лет сорока, русский и в зеленом свитере. Мы с Антонычем, не сговариваясь, бросились к ним, нам преградила путь тень в костюме: «Возвращайтесь наверх, мы сами вызовем „скорую“, ничего не нужно, идите...»

Лифт с нами троими — мной, Антонычем и нашей подроспевшей начальницей — закрыл двери. «Он умрет, — сказала начальница, нахмурив тоненькие, почти невидимые брови, и поправила прическу перед лифтовым зеркалом. — Синяя полоса вокруг губ...»

Он, действительно, умер. Когда мы вышли во двор в следующий раз, не было ни скамейки, ни ребят в белом, ни синей полосы. Парень лежал на крыльце, глаза его были закрыты, а рот, наоборот, приоткрыт, как у спящего. Я не стану описывать его, хотя помню до мельчайших подробностей. Не знаю — почему, не хочу — и все тут. Мы курили, а он лежал в десяти шагах от нас.

Потом его накрыли черной пленкой, потом приехала полиция — и сняла черную пленку. К полудню начался дождь, вода с неба гасила наши папиросы и мочила мертвому волосы, лицо, свитер. Черная пленка валялась в стороне, я двинулась, было, к парню, чтоб прикрыть от дождя, тень в костюме метнулась сбоку и крепко взяла меня под локоть: «Нельзя подходить, возвращайтесь к своим, ничего не нужно...»

Это был очень долгий день. Я просматривала детские стихи из почты, созванивалась с какими-то школами, решала какие-то вопросы... Потом пришла девочка-поэт за авторским экземпляром журнала, я провожала ее через двор и закрывала собою мертвого. Если увидит и спросит, я скажу, что у дяди был день рождения, он крепко отметил, а теперь отдыхает... Девчушка, юная поэтесса, ничего не заметила — к счастью.

Нам было жаль его, бесконечно жаль. Но к концу дня мы уже все хотели одного: пусть он исчезнет — и все поскорее закончится и будет как прежде. Он измучил нас своим присутствием, он был мертв, а мы живы, мы ничего не могли изменить, и больше у нас не было никаких сил. Елы-палы, центр

Москвы, Воздвиженка, почему не забирают мертвого, в спальные районы труповозка приезжает через полчаса, максимум через час.

Парня в зеленом свитере увезли в шесть вечера, через девять часов после смерти. Мы опять курили во дворе и смотрели, как неуклюжая машина с покойником не может развернуться, то и дело включая красные стоп-сигналы. Мы уже знали, что подходить и предлагать помощь нам никто не позволит. И мы были безмолвны, точно мертвые.

А дальше было неинтересно. Дальше руководство решило, что редакция обходится слишком дорого и нужно сократить расходы. Например, закрыть один из журналов. И убрать кого-то — для верности. Закрыли «Литучебу». И убрали меня. Да, я тащила в одиночку свой детский журнал, но это могли делать и другие, если поднапрягутся, с одним-то оставшимся журналом грех не справиться. Я пришла позже всех, за мной никто не стоял — и стоять не мог. И меня принялись выживать, а я ничего не могла понять долгое время. Я видела, что стала для всех как этот парень в зеленом свитере: все жалели, но сделать ничего было нельзя, а раз так... Я плюнула и написала «по собственному»...

В автобусном парке, куда я пришла, был кругом металл, горячий воздух, запах топлива. Когда я в первый раз сама завела движок — то задохнулась от счастья. Машина была живая, настоящая — как живыми и настоящими были все эти ребята в форме, выбоины в асфальте, березы на стоянке, автоматы с кофе, задушевные разговоры ни о чем перед рассветом, когда машины уже заведены, и до выхода из парка пятнадцать минут, и ты куришь, дышишь бензином и солнцем, которое взойдет вот-вот, когда ты будешь заканчивать первый рейс.

Парень в зеленом свитере долго снился мне. Теперь не снится. Хорошо это или плохо — не знаю. Я ему иногда говорю про себя: ты приснись, я не буду против, все хорошо, ничего не нужно, я жива, я о тебе помню...

[Нерасстегнутый шлем](#)

Всем сделалось жарко — и нам, и машинам. В кабине автобуса кондиционеров нет: в самые жаркие часы мы мочим под краном рубашки и наливаем в ботинки воду. Помогает, но не надолго: к середине рейса форма успевает высохнуть, намертво прилипнуть к телу. На долгих светофорах мы

ставим машину на ручник — это чтоб не укатилась, если водитель вырубится от жары. На днях моя машина не выдержала — затемпературила до опасных ста градусов. Пришлось высадить пассажиров и стоять с открытым капотом, затем диспетчер дала добро на возвращение в парк.

Я ехала по Шипиловской улице, когда увидела вдали столпотворение людей и машин. Авария? Или сбили кого-то? Да, авария. На проезжей части лежит мальчик-мотоциклист и судорожно дергает руками и ногами. Лица я не вижу — его скрывает шлем, — но судя по худеньким запястьям и дурацкому оранжевому монстру на шлеме, лет пятнадцать-шестнадцать — не больше. В стороне валяется дешевый китайский мопед — такие обычно покупают старшеклассникам из небогатых семей. Водители матерятся и въезжают на тротуар, чтоб объехать, какой-то парень из красной «Ауди» кричит, чтоб оттащили мотоциклиста на обочину. В толпе — все молодые хмурые ребята — никто не реагирует. «Скорую ждем», — нехотя бросает один из парнишек водителю.

«Нужно расстегнуть шлем... — думаю я. — Душно же ему...» — и решительно поворачиваю на тротуар. Делаю страшные глаза удивленному моим неожиданным маневром таксисту-кавказцу. Затаскиваю «Лиаз» на тротуар — туда, где обычно располагается самопальный рынок. Сейчас бабушек с укропами нет — всех разогнала жара, так что несколько минут автобус вполне спокойно позагорает тут, заодно и охладится.

Ставлю машину на ручник, выключаю зажигание, выхожу. И почти сразу утыкаюсь в плечо какой-то девушки, стоящей в стороне. «Чего это она дрожит в такую жару?» — успеваю подумать я, но тут она оборачивается. В глазах — обычных, серых, девчачьих — ужас и отчаяние. Я останавливаюсь и молча смотрю на девушку. Я не знаю, о чем говорить с человеком, когда у него такие глаза. Это она, что ли? Да, судя по всему... Правая рука на капоте старенькой «Нексии», у машины помято крыло. Странно, я и не задумывалась до этой минуты о том, кто сбил мотоциклиста — те или эти, народу-то вон сколько... Девчонку никто, похоже, не собирается линчевать, не осыпает оскорблениями и угрозами — к ней просто не приближаются, точно стоит она посередине заколдованного круга.

— Пить хотите? — невпопад говорю я первое, что приходит в голову. — У меня в автобусе есть вода.

Она отрицательно мотает головой — и пряди отросших русых волос с силой хлещут ее по лицу.

— А курить? — продолжаю я нести чушь. Кивнула? Или мне показалось?

Я иду к автобусу, нашариваю в кабине сигареты. Она неловко затягивается, не глядя на меня. «Не курит...» — понимаю я. Девчонка делает шаг ко мне — инстинктивно, наверное. Теперь мы стоим совсем близко друг к другу — и дышим тем, что выдыхает стоящий напротив, то есть одинаковым табачным дымом.

— Я ехала... а он выскочил со двора, — голос ее прерывается и дрожит, — я не успела просто...

Я смотрю на помятое крыло. Да, удар слева, похоже, паренек не захотел затормозить и просто-напросто впечатался в ее машину. Я его понимаю: в шестнадцать лет кажется, что весь мир должен посторониться и уступить нам дорогу. Ну а девушка, как ей теперь жить? Еще час назад она ничем не отличалась от своих ровесниц-студенток. А теперь... Вся жизнь под откос?

— Меня посадят? — теперь ее голос хриплый — наверное, от моей сигареты.

Я пожимаю плечами.

— Нет, не должны. Ты же ехала прямо? А он поворачивал со двора. Значит, обязан был уступить. Ты ни в чем не виновата...

Девчонка смотрит доверчиво, как щенок. Я хочу погладить ее по голове, но сдерживаюсь.

Сзади визг тормозов — и такой же визгливый голос: «Кто здесь автобус поставил, где водитель, водитель где, я спрашиваю?»

Должно быть, в толпе кто-то указывает на меня — и гаишник бросается к нам:

— Ты что, охренела? Ну-ка быстро села в свой автобус и убралась!

— Понимаете... — начинаю я как можно приветливее.

Гаишник хватает меня за плечо и с силой поворачивает к автобусу.

— Я сказал: убрала автобус с тротуара, идиотка! Скоро паровозы тут парковать начнете, кретины...

— Звони ихнему директору, — советует его напарник — полный и лопухий.
— Это шестнадцатый парк. Не понимает по-хорошему барышня...

Я иду к автобусу. Уши мои пылают. В толпе раздаются редкие смешки, но скоро они стихают. В полной тишине я завожу автобус и осторожно сползаю с тротуара. Гаишники отворачиваются и направляются к пострадавшему. А я-то... я ведь так и не расстегнула ему шлем...

Я потеряла пилотку

Когда-то, тысячу лет назад, Алла Николаевна преподавала у нас в институте. Мы были почти дружны — и от той былой привязанности у меня осталась привычка поздравлять ее с днем рождения. Не просто поздравлять, а особым образом: подъехать ночью к забору ее дома (Алла живет в пригороде, в коттеджном поселке), положить подарок на крылечко и втихую смяться восвояси. Пусть утром именинница проснется, выйдет на крыльцо и...

По правде говоря, не знаю, сильно ли Алла радовалась моим ночным эскападам, но я как-то сумела себя убедить, что она должна быть в восторге. Впрочем, я-то радуюсь наверняка: там рядом лесок, поют соловьи — день рождения ведь в конце мая, можно остановить машину, выйти, покурить, подумать о вечном. Ночь, тепло, лают собаки, огоньки среди сосен. Почему не заходила, не обнаруживала себя, не позволяла обнять, расспросить? А нипочему. Я, между прочим, не уверена, что мне будут рады. И есть причина, извиняющая мое поведение: ночь же на дворе, зачем беспокоить людей? У нее муж, дочка, может, еще кто-то, а я-то чего? Бывшая студентка?

В этом году было все так же, как и всегда. Кроме одного — теперь я водитель «ЛиАЗа», и в тот день заехала к Алле после смены. Естественно, в водительской форме, на голове — пилотка. Обычно пилотку я не ношу, а в тот день напялила — для чего? Хотела покрасоваться перед Аллой? Надеялась, что она неожиданно выйдет из дома и увидит меня в пилотке? Да, хотела, да, надеялась. В юности Алла видела меня чуть ли не будущим классиком русской литературы — так пусть теперь узрит в водительской пилотке. Алла, конечно, не вышла. И вот подарок на крыльце, лесок, тепло, сигаретка, думы о вечном.

Пилотки я хватилась только наутро. Обыскала машину — нет. Видимо, обронила в лесу, когда выходила покурить. В середине дня я получила письмо от Аллы. Она сердечно благодарила за подарок, выражала сожаление, что я не зашла. Пилотку, оказывается, я обронила у нее в саду. «Вдруг тебя накажут?» — искренне переживала бывшая преподавательница. Договорились, что заскочу к ней после смены.

Я честно вам признаюсь: не могла дождаться, когда окончится смена. Неужели я увижу ее? Какая она теперь? Была небольшого роста, худенькая, синеглазая, скуластенькая, а ведь теперь у нее уже внуки. Пригнав машину с мойки и сдав ее механику, я отправилась на другую сторону Каширского шоссе — там круглосуточный цветочный магазин. Выбрала три крупные, наполовину распустившиеся лилии, попросила продавщицу вернуть их покрасивее. От лилий одуряюще пахло диковинными восточными сладостями. Почти бегом бросилась к своей машине. И вдруг наткнулась на Таню и Валюху из своей колонны — они в «Дикси» за хлебом и консервами завернули.

— Ух ты, Лелька! С букетом! Колись быстро: от кого цветы? — у Таньки от нетерпения аж рот открылся, обнажив два верхних зуба и сделав ее похожей на зайчонка.

— Ни от кого. Купила.

— Сама? Ты что, офонарела? — Валюха была, как всегда, категорична. — Слушай, а чего это от тебя несет, как от бензоколонки? Соляркой обливалась, что ли?

— Да пилотку потеряла я, — нужно было побыстрее что-то наврать и распрощаться с моими шофершами, — а одна женщина нашла в своем саду. Я к ней вот сейчас еду за пилоткой. Ну и цветы везу ей в благодарность...

— В каком еще саду? — подозрительно посмотрела на меня Валюха. — В детском?

— В обычном. Темно было, я уронила и не заметила.

— А... а чего ты у нее в саду ночью-то делала? Да еще в пилотке? За яблоками, что ли, залезла? — так и сыплет вопросами Танька.

Елы-палы, вот напасть! До Аллиного поселка час как минимум. Да еще бы поспать хоть три часика успеть — завтра ведь на целый день в смену.

— Гуляла я там, чего непонятного-то? А пилотку надела, чтоб комары не кусали... Еще вопросы будут, а то я спешу?

Девчонки переглядываются.

— Слушай, Лелик, а ты точно хорошо себя чувствуешь? Соляжкой обливаешься, пилотки теряешь...

— Ладно, девчонки, увидимся завтра, а? — умоляюще тяну я.

Наконец, я в своей машине, ура! На всех парах мчусь к Аллиному поселку.

Вот ее дом. Вот сад, где я потеряла пилотку. Вот крыльцо, на которое я каждый год тайно кладу подарки. И отступить уже некуда. Стучусь, вхожу. Нет, она совсем не изменилась. Улыбка как у девочки. Брючки в обтяжку, глаза смотрят радостно и отчего-то виновато. Она ведет меня в нарядную комнату с книгами и круглым столом. Навстречу поднимается ее муж — интеллигентный и красивый, похожий на католического аббата. Мы вроде знакомы, представляться не нужно? На диване дочка — моих примерно лет, сорок с небольшим. Или старше. Или младше. Какая, собственно, разница? Знакомимся с дочкой.

Меня поят чаем и расспрашивают о водительской работе. Рядом крутится огромный, ласковый лабрадор. Он заглядывает мне в глаза, кладет голову на мои колени. Он искренне рад мне, а я ему.

От меня пахнет соляжкой. А руки просто черны от загара. Причем левая рука — та, что лежит на форточке водительской кабины — намного чернее правой — той, что обычно на руле. Я прячу руки под стол — чтоб не заметили.

Вокруг книги-картины-иконы. Мне неловко, хозяевам, видимо, тоже. И ведь хорошие, похоже, люди — ни тени бахвальства, приветливые. Просто чужие. Но разве они виноваты? А я? И для чего нужно было тащиться сюда — ну, пусть бы пилотка оставалась у Аллы. В качестве военного трофея. Алла протягивает мне пилотку. Я благодарю ее и поднимаюсь: «К сожалению, мне пора...» «Да-да, понимаю...» — кивает Алла. Я прошу не провожать меня. Если проводит — захочет еще поцеловать, а я ведь не принимала душ после смены. Надышится бензином — придется потом откачивать.

Темно, еле различима дорожка под ногами. Я — шофер, и должна знать о дороге все. Я знаю, что дорога не бывает в один конец. Только в сказке или в фантастическом романе. Иначе это неправильная дорога.

Четвертый рейс

Иду вчера по Задонскому проезду. Четвертый рейс, дело к вечеру, жара потихоньку спадает. На остановке еще издалека вижу инвалидную коляску — значит, придется раскладывать пандус, а кто его знает, разложится ли он на этой малознакомой машине? Ставлю автобус на ручник, выхожу. В коляске старушка — лет восемьдесят, не меньше — одета, несмотря на жару, в драповое пальто и теплые ботинки, рядом женщина моего примерно возраста — чистенькая, миловидная, серьезная, в секондхэндовских брючках и белом, облегающем джемперке. По возрасту явно не дочь — может, внучка? Или соцработник?

Пандус, конечно, заклинило. Я подхожу к девушке, берусь за ручку коляски: «давайте так затащим!» Она качает головой. «Ох, дамочка... Подержите пока коляску — я сама разложу...» Я послушно придержала коляску, с любопытством наблюдая за ней. Странно, даже вот это «дамочка» прозвучало у нее как-то необидно, буднично...

Пандус она разложила, мы вдвоем вкатили бабушку в салон. Все это время бабушка не проронила ни слова, смотрела в одну точку. Я осведомилась у девушки, когда им выходить, и возле метро «Домодедовская» уже сама легко разложила для них пандус. Она бегло кивнула мне, не поблагодарила, ушла — хмурая, деловая, серьезная.

Я еще раз подумала, что каждому выпадает разное на долю. Кто-то — вот как эта девушка — должен отказаться от своей жизни, чтоб ухаживать за пожилой родственницей. И она согласилась, тянет воз. Я много раз видела людей, которые отказались от своей ноши, ушли, спрятались, согнулись, втянули голову в плечи: вдруг она, судьба, то есть, не заметит нас и перекинет непосильный груз кому-то другому? Возиться с осиротевшим племянником, ухаживать долгие годы за впавшим в маразм родственником? Да ну их к ядерной фене — жизнь-то одна!

Но знаете, что я заметила? Шло время, а человек, попытавшийся обмануть судьбу, так и оставался согнутым — и внутренне, и внешне. Поэтому теперь уже, встретив сломленного человека, я даже не сомневаюсь, что это беглец.

Но это все ладно. Я закончила рейс, выехала с конечки. Ух ты, мы вышли из бухты! Последний круг — он трудный самый! Доехала до метро

«Домодедовская» и, как водится, застряла на светофоре перед пересечением с Каширским шоссе. И снова увидела их — бабушку в коляске и эту женщину — у самого выхода из метро. Бабушка то и дело протягивала прохожим какую-то емкость для денег. Ее внучка стояла в стороне и как будто читала газету. Но я видела, что она постоянно поднимает глаза и следит за тем, как бабушка собирает деньги.

Я не знала, что делать. Я стояла и смотрела на них. Потом загорелся зеленый — и мне неистово засигналили сзади. На обратном пути я уже не увидела этой пары. Впрочем, было почти темно. Август ведь, вечера все темнее.

Пятьсот десятый

Это один из моих детских маршрутов. Он заканчивается Домодедовским кладбищем, где мои мама и бабушка, а начинается теперь от метро «Домодедовская», хотя во времена моего детства начинался от «Красногвардейской». До того, как я стала водителем автобуса, я ездила по нему без малого четверть века. Хорошо, наверное, было тем водителям, которые ездили от «Красногвардейской»: там есть нормальная автобусная станция, а нам приходится вставать под знаком «остановка запрещена», с риском нарваться на бэдэшников и штрафы. Впрочем, голь на выдумки, как известно, хитра: сегодня, как и вчера, я преспокойно ставлю автобус под запрещающим знаком, затем выставляю знак аварийной остановки и открываю капот — мол, идите все на хрен, у меня автобус сломался. Автобус «ломается» во все перерывы между рейсами — на обед я отчаливаю в парк. Сзади подъезжает еще один пятьсот десятый, за рулем Володька, паренек из нашей колонны.

— Подтягивай поближе, чего ты жопой на перекрестке стоишь? — приглашаю я. — И тоже знак выстави и «аварийку» вруби — а что такого, у нас два автобуса сразу сломались...

Володька хохочет, сверкнув белыми, ровными мальчишечьими зубами.

— А бэдэшники подъедут — что скажем?

— Залезем на крышу автобуса и станем оттуда матом орать! — предлагаю я, закуривая сигарету.

Но мне уже пора трогаться. Опускаю капот, убираю «аварийный» знак и «башмак». Елки, ну и толпа на остановке! Я не спешу. Жду, пока пассажиры рассядутся. Все-таки не ближний свет.

Едем. Каширское шоссе, поворот на МКАД. Обязательная остановка «Совхоз имени Ленина» — тут всегда обычно кто-то выходит. Москва позади, я отчаливаю на середину шоссе и набираю скорость. Теперь эта дорога кажется мне пустяком — по шесть-семь раз за смену я езжу на кладбище и обратно. А когда они умерли — бабушка и через три месяца — от рака — мама — она была поистине бесконечной. Бабушкины похороны я не помню совсем, мамины помню плохо: толпа женщин с жалостливыми глазами, огромный сноп оранжевых георгинов, купленный мной накануне на платформе, — впалые щеки сестренки — нищенский гроб, обитый розовой материей, по цвету напоминающей клубничный зефир, — маленький автобус, который швыряло на ухабах, да вот эти березы по обеим сторонам шоссе... Эти? Или не эти? Сколько живет береза? Я-то успела вырасти, дожить до зрелых лет, а они что же? Может, у берез бывают дети и внуки — и это их я сейчас вижу из водительской кабины?

Мы подъезжаем к Пахре, машина мчится вниз по крутому склону, еще чуть-чуть — и вылетит с дороги, я удерживаю ее.

После похорон мы с сестрой ездили на кладбище очень часто, сперва каждую неделю, потом раз в месяц, после — это уж непременно — в любые каникулы. Денег на оградку или цоколь у нас, конечно, не было — да и откуда бы им взяться, когда одна — студентка-младшекурсница, а другая — школьница? Но мы исхитрялись, как могли, наводить красоту и без денег: вбивали колышки, натягивали по краям могилы атласную ленту, купленную накануне перед поездкой в галантерейном магазине — получалась прекрасная ограда, жаль, хватало ее ненадолго. Приносили и рассаживали возле могильного креста плюшевых медвежат — символ ребяческой любви и заботы, а уж про цветы и говорить нечего: возле метро «Красногвардейская» за бесценок бабушки-дачницы отдавали нам такие влажные, яркие георгины, такие бесстыдные в своем роскошестве розы, лилии, гладиолусы, что и поныне, кажется, я не видела ничего красивее этого нескончаемого цветочного праздника.

Тогда пятьсот десятый считался подмосковным маршрутом — в нем был кондуктор, и мы с сестрой показывали ему свои «сиротские» удостоверения.

Кондукторы — обычно полные и почему-то белокурые женщины средних лет — с грустной улыбкой кивали и отходили прочь. Сейчас у меня в автобусе нет кондуктора — обычные валидаторы возле двери, как и на прочих маршрутах. Пассажиры непременно десять раз спросят, могут ли они проехать по обычной «тройке» или «социалке». «А вдвоем можно по одной „социалке“?» — спрашивает какая-нибудь расхрабренная тетка. Я пожимаю плечами: «Да хоть втроем, мне-то что? Пусть хоть весь автобус бесплатно едет, войдет контроль — будут ваши проблемы...»

Да не войдет контроль — откуда он тут? Остановки все по требованию, и вот мы уже подгребаем к Воеводино. Бабушка с корзиной (а я-то удивилась, чего она с корзинкой едет на кладбище) подходит к двери, я торможу и открываю среднюю дверь.

Иногда я ездила на кладбище одна. Сейчас по территории ходит «дэшка» — тоже маршрут нашей автоколонны, — а тогда все шли на своих двоих. До нашего — самого дальнего, возле леса, участка полчаса ходу — да что такое полчаса для здоровой легконогой девчонки? Я возилась возле могил, в лесу куковали кукушки, и я, не поднимая головы, хлюпая носом, спрашивала, сколько мне жить. Жить мне выходило бесчисленное количество лет. Порой из-за леса выныривал самолет — и проносился очень низко надо мной — рядом ведь аэропорт. Вот тут-то я поднимала голову и, отбросив упавшую на глаза челку, вскакивала, долго провожала его взглядом. В будни, под вечер, никого из живых ведь больше не было рядом на много-много километров.

Мне пора сворачивать с трассы. Я пропускаю встречный поток транспорта, прижимаю машину к середине узкого, крутого поворота. Дальше тоннель под шоссе — длинный, темный и узкий. В детстве я всегда втягивала голову в плечи, когда пятьсот десятый автобус въезжал в него. Сейчас, уже сама будучи за рулем пятьсот десятого автобуса, лишь слегка притормаживаю и, заходя в тоннель четко посередине, слежу, чтоб боковые зеркала не задели близкие стены. Все, слава Богу, дальше три километра по лесу — и мы у цели. Я открываю форточку в кабине: когда-то соловьи пели здесь так громко, что запросто могли перекричать любой, самый мощный движок. Но сегодня в лесу тихо, листья с берез и тополей кружатся перед моим автобусом — да и весь лес такой, точно его специально нарисовали на осенней картине. Сейчас подъеду к кладбищу, высажу пассажиров, заберу

тех, кто едет с кладбища — и здравствуй, Москва. К своим не зайду — на кладбище автобусы не стоят, а только разворачиваются.

— Мама и бабушка, если я встречу мертвого человека, которому нужна забота, я обязательно подарю ему плюшевого медвежонка! — говорю я про себя выплывшему из-за леса беспорядку из крестов и памятников.

Затем смеюсь над своей дурацкой сентиментальностью. Моих мамы и бабушки здесь нет. Они ушли давным-давно. Почему же все-таки не поют соловьи, перестреляли их, что ли? Елы-палы, да ведь осень же, октябрь... Кому охота петь посреди октября?

Девяносто пятый

Еще один «детский» маршрут. Странно получается: почти все дороги, которыми я ездила в детстве, оказались маршрутами нашей автоколонны. «Девяносто пятый» у нас любят все. Во-первых, он начинается в Капотне — там очень уютная автобусная станция с чудесным буфетом, приветливым доктором Галиной и не менее приветливой уборщицей Альбиной. Чистота, цветы, запах пирогов. От начальства далеко, патрули БД сюда доезжают редко, может заглянуть Валерьич, начальник колонны, но это свой человек. Мы, конечно, не зарываемся особо — чистоту поддерживаем, курим, правда, где ни попадя, но окурки мужественно доносим до урны.

Во-вторых, маршрут легкий, если не считать пути по МКАДу — тут нужно держать ухо востро, особенно когда отъезжаешь от остановки и встраиваешься в поток. По правилам автобус, отходящий от остановки, обязаны пропустить, но кто следует этому правилу? Выкручиваемся как умеем: чуток влево — машина проехала — влево, опять влево — и так до тех пор, пока очередная машина просто вынуждена будет затормозить. Во времена моего детства девяносто пятый ходил до метро «Каширская» — сейчас маршрут укоротили — мы идем по Каширскому шоссе, разворачиваемся на 7-м микрорайоне и дуем обратно в Капотню.

В деревне Беседы (давней имя одной из остановок на МКАДе) находится храм Рождества Христова — там нас с младшей сеструхой покрестили. Туда я много лет ездила на девяносто пятом — исповедоваться и причащаться. Добирались от дома до Сабурова, там ждали девяносто пятый — и катили в Беседы.

Впрочем, ездили на автобусе только весной и осенью, в остальное время ходили пешком — по берегу реки Городня, через заброшенные совхозные поля, и дальше — через промзону и огороды, до самого МКАДа. Но в распогодицу берег размывало, а часто и затапливало — пешком уже хрен пройдешь, к тому же, в храм все-таки стоило прийти в чистой одежде и обуви.

Я хорошо помню тот день, когда нас крестили. Мне было пятнадцать, сеструхе — двенадцать, стоял конец мая, а когда мы шли от храма к остановке — нам навстречу бабушка в платке гнала с выпаса корову. Да, теперь никто и не поверит, что тогда в Беседах были коровы. И куры были, и гуси даже. Впрочем, куры есть и сейчас, и петухи орут так, что их слышно в Москве.

Помню, как на квадратиках пола играл солнечный свет, как вместо крестильных рубашек у нас были выдавшие виды футболки, а крестная тетя Галя неспешно объясняла какой-то деревенской женщине, что вот, де, ее звали крестить мальчика, но она отказалась — хочет непременно девочку, а вот теперь у нее две девочки-крестницы.

Помню наши латунные крестики со слюдой — у меня зеленый, у сестры голубой — никогда в жизни я не видела ничего красивее их. Помню, как купила в лавке иконку — Казанскую Богоматерь, чтоб подарить в школе своей тогдашней симпатии — черноволосой учительнице химии с несчастливым лицом и такой же несчастливой судьбой.

Помню, как батюшка отец Александр сказал мне после крещения: «Ты такая красивенькая, смотри, чтоб не было никаких ребят на мотоциклах!» Я очень серьезно кивнула ему.

Это после, через много лет, при бесединском храме появилась воскресная школа и даже детский клирос, на котором пели уже мои дочка и сын, а в ту пору ребятишек здесь было мало: мы с сестрой да Монах, да еще какие-то малыши, которых приводили к самому причастию, к открытию царских врат.

Вот не помню, к стыду своему, не помню, как звали Монаха! Было ему лет одиннадцать, кажется, его приводила мать — высокая и неразговорчивая, в черном платке, я помню ее со спины перед иконой Богородицы. Монах был похож на любопытного галчонка, которого какой-то придурок окунул в банку с белой краской — волосы как молоко, а глазенки черные, и сам такой

вертлявый! Он так истово молился, клал поклоны, что все в храме говорили, что он будет монахом.

Конечно, Монах сразу начал набиваться в компанию к нам с сестрой — иногда мы шугали его — все-таки маленький — иногда нет, тут зависело от погоды и настроения. Однажды — летом, кажется, или весной — он приволок новенький перочинный нож необыкновенной красоты — с такой же слюдяной зеленой ручкой, как мой крестильный крестик. Доверчиво вложил его мне в руку, а сам умчался занимать очередь на исповедь. Я сунула ножик в карман куртки и быстро вышла из храма. Вокруг белели каменные памятники маленького кладбища, которое мы называли почему-то Архиерейским. Под один из памятников я и положила нож, придавив его сверху камешком до лучших времен. Должно быть, он лежит там до сих пор.

Монах, как ни странно, сразу поверил, что я потеряла ножик. Он решительно старался не плакать, пока его мать с другими женщинами ползали под церковными лавками. На исповедь я, конечно, в тот день не пошла — отправилась домой, не дожидаясь автобуса. Я уже сто раз пожалела о том, что сделала, но было стыдно и страшно вытащить этот проклятый нож. Я так никогда и не сказала об этом на исповеди, а теперь, наверное, это звучало бы странно.

Монах, говорили, и вправду принял постриг — подвизается где-то под Псковом.

Спустя семь лет после крещения я венчалась здесь же, в Беседах — и венчал меня тот же батюшка, что и крестил — наш отец Александр. Моя сестра тоже выросла, теперь она жена священника, у нее четверо детей-подростков, моих племяншей.

После литургии вокруг бесединского храма подолгу не смолкают сейчас детские голоса: кто идет в воскресную школу, кто в трапезную — угощаться пирогами и учиться лепить пряничные домики, кто-то просто носится по архиерейскому кладбищу, как мы когда-то, силясь разобрать надписи на белых камнях. Куда там, надписи были неразличимы еще во времена нашего детства!

А я, проезжая мимо Бесед на своем «Лиазе», всегда даю короткий гудок. Если на обочине стоят люди, они удивленно смотрят на меня. Я улыбаюсь и отворачиваю лицо.

Фераро Роше

Есть слова, от которых почему-то хочется безудержно плакать. Я не знаю, что такое это Фераро Роше. То ли шоколад, то ли автомобиль, а может, духи? И что-то еще — невероятное — как след игрушечной туфельки на маленькой игрушечной ноге... Повода для слез никакого: автомобиль у меня есть, шоколад я давно разлюбила, духи тоже имеются в немаленьком количестве.

И я не плачу. Я молча стою в курилке, а рядом плачет Лена из третьей колонны. Сегодня она задавила кота. История обычная: котейка был серый, видимость плохая, к тому же дождь... Он перебежал дорогу и попал под автобус. Лена сидит на стареньком стуле, мы — я, Санек и Татка — топчемся рядом, чуть поодаль курит незнакомый плечистый парень — слесарь из ремзоны. Все наперебой утешают Лену и говорят, что котов в парке давят постоянно — то и дело находим поутру мохнатые трупики. Выросшие в парке коты просто не понимают, что автобус может быть опасным.

Я говорю:

— А я чуть не сбила Атаса. Вечером, когда заезжала в парк. Возле поста охраны светло, а дальше темень — ничего не видно. Я не увидела — почувствовала, что под правым колесом кто-то есть, даванула на тормоз, тут Атаска и выскочил. Иначе триндец, как раз правым ведущим его бы и переехала.

— А где Атас? — спрашивает Татка. — Сто лет его не видела.

— Говорят, в девятый парк увезли. Васька сказал, что если в нашем парке увидит собаку или кота — тут же застрелит.

Васька — это прозвище одного из начальников парка. Он старый, толстый и горластый, как петух.

— Да хрен он в кота попадет, — деловито говорит Санек, доставая сигарету.

— Стекла в автобусах порасшибает только...

Парень из ремзоны хмыкает.

Со стороны дверей несется запыхавшаяся Иришка.

— Ребята... кто сегодня на пятьсот десятом работает, на кладбище не заезжаем, высаживаем всех у ворот...

Иришка поправляет челку, щелкает меня по затылку и исчезает так же стремительно, как появилась.

Лена поднимает заплаканные глаза.

— Что она сказала? Я не поняла...

— Что-что... Покойников боится ... — с досадой говорит Татка.

— А ты не боишься? — ехидно спрашивает парень из ремзоны.

— Я не боюсь. У меня на Домодедовском кладбище Наташка, сестра...

Возникает вполне понятная пауза.

— Она... большая была? — неловко спрашивает Санек — чтоб не молчать дальше.

— Да не очень, одиннадцать лет. Осложнение на почки после ангины. В больницу взяли, к аппарату дыхательному подключили, а он вырубился ночью. Она вздохнула, а выдохнуть не смогла — так и похоронили на вдохе...

Все молчат. У всех, кроме Саньки, дети уже старше бедной Наташки. Наверное, она была такой же хорошенькой, как Татка — белокурой и голубоглазой.

— Это давно было, тридцать лет назад, — спокойно говорит Татка.

Я думаю, что вечная жизнь наверняка есть. И если она есть, то, может быть, все они — и девочка, умершая на вдохе, и задавленный сегодня кот — сейчас сидят на крыше курилки и слушают наш разговор:

— Я даже не смогла разобрать, котик или кошка (это Лена).

— Кого мне убить за то, что нет вечной жизни? (это Татка).

— На самом деле, между живыми и мертвыми очень небольшая разница (это я).

— Совсем дура, да? Ты мертвых когда-нибудь видела? (это Санек).

А дождь идет, весь день идет сегодня дождь. Он лупит по нашим черным от загара щекам и по крышам наших автобусов. По стеклам каких-нибудь малолюдных шоколадных магазинов, пахнущих лежалой клубникой. По жирной кладбищенской земле, навсегда укрывшей Таткину голубоглазую сестру. Фераро Роше. Я не плачу. И Лена уже не плачет тоже. И Татка. Никто

не плачет. Кладбищенская земля похожа на жука-пожарника — черного и невзрачного со спины, но внутри дивно алого. Никто на свете, никакой дождь, никакая вечность не в силах одолеть этот маленький, живой, развеселый пожар.

Пассажиры

Обычно пассажиры относятся к нам из рук вон плохо. Водители быстро грубеют, становятся жесткими — так, наверно, грубеют надзиратели в тюрьмах из-за постоянного контакта с огромным количеством недоброжелательных людей.

Вчера я ехала по 57-му маршруту. Маршрут был новый, сложный — почти через всю Москву: от «Каховской» до «Ломоносовского проспекта». Не заплутать бы, не огрести рапорт от Глонаса!

А тут еще дед на остановке! С палочкой, старый совсем, еле двигается. Я подваливаю к самой кромке тротуара. Дед еле входит в переднюю дверь, благодарно смотрит на меня. Я дергаю плечом и жду, пока дедок усядется, а то долбанется еще. Вдоль дороги уже потянулись ботанические сады МГУ, когда он вскакивает, подходит ко мне и заявляет — неожиданно молодым голосом: «Мне нужно выйти у Обсерватории...» «Сидел бы дома, дед...» — хмыкаю я про себя. Останавливаюсь у Обсерватории. Дед выходит. Я уже собираюсь трогаться, когда он вдруг — мальчишеским движением — поднимает в приветствии руку. Он так и стоял — я видела в правое зеркало, то ли приветствуя, то ли благословляя. Если это было благословение, то пришлось оно в добрый час: я не сбилась с маршрута, без ремонтов отработала смену, благополучно вернулась домой.

Первое мая я встретила за рулем своего Лиаза — на 510-м, кладбищенском маршруте. Утром прицепила к автобусу флажки — в обед позвонил начальник колонны: «Ты куда на кладбище с флажками поперлась, снимай их на хрен!»

Я ехала по лесной дороге, когда увидела пожилого дядьку с рюкзаком. За грибами, что ли, намылился? Доехала до кладбища, развернула автобус, загрузила тех, кто уезжал обратно. И опять увидела этого «грибника» — он медленно шел навстречу, по лицу его катился пот. Завидев автобус, неуверенно поднял руку. Я остановилась и открыла переднюю дверь. Не

слушая благодарностей, буркнула: «Давайте скорее, а то увидят — будет мне на орехи!» Кто-то же доложил начальнику колонны, что я рассекаю с флажками!

«Я на операцию ложусь, дочка... — объяснил мужик. — Решил в последний разок по лесу прогуляться, да видишь — не выдюжил...» Он достает из кармана две конфеты и сует их мне. Конфеты совсем простые, хотя и шоколадные, а я избалована заграничными сладостями, которые привозит отец. Я разворачиваю конфету — и с наслаждением жую. Потом вторую. Как это последний раз, батя? Выздоровливай, еще побегаешь по лесу, а я повожу тебя на своем Лиазе. Будь молодцом, а я буду смотреть по сторонам и однажды тебя увижу! Это я все про себя, разумеется. Потому что в рейсе мы не имеем права разговаривать с пассажирами.

Сын Ахматовой

Вполне себе темный и непроглядный ноябрьский вечер, последний рейс по 510-му маршруту. Открываю двери возле метро «Домодедовская», но пассажиров нет: кто поедет в эту пору на кладбище? Разве что в населенные пункты по дороге — Колычево, Воеводино, Шишкино.

В переднюю дверь заскакивает паренек лет тринадцати. Протягивает деньги за проезд. Я хмыкаю: тут взрослые-то избалованы отсутствием контролеров и ездят бесплатно. «Не надо, купи себе мороженое. А можно поинтересоваться: куда это юный джентльмен собрался в такую пору?» Что такого, в конце концов, это ребенок, на улице темно — вдруг он заблудился или сбежал из дома? Паренек удивленно поднимает на меня глаза. У него узкое, породистое лицо, небольшие цепкие глаза. Голова как яйцо, бритый почти наголо, а ведь, наверное, русоволосый — вон пробивается щетинка. Никакой шапки, понятно, нет — да и кто в его-то годы носит шапку? Кажется, видела я где-то этого мальчика. Или нет?

— Я еду домой. Остановите на «Пахре»?

— Остановлю, не беспокойся. Только там темно, тебя хоть встретит кто-нибудь?

Мальчишка слегка улыбается.

— Я знаю, что темно. А встречать некому. Не беспокойтесь, мне недалеко.

Паренек проходит в салон, я закрываю двери и трогаюсь. В зеркало салона поглядываю на своего пассажира. И вдруг понимаю, кого он мне напомнил. Недавно по телевизору шел документальный фильм о Льве Николаевиче Гумилеве. На одном из детских портретов Лев Гумилев ну просто вылитый этот пацанчик. Вот оно что!

Взрослым не положено плакать, но я плакала, когда смотрела фильм. Жалко было Льва. Мать жила в Питере с новым мужем, отец расстрелян, если бы не бабка — мать Николая Гумилева — сгинул бы пацан где-нибудь в приюте.

Приезд к матери. Ему постелили на сундуке в коридоре. Ничего особенного тогда в этом не было: в условиях нехватки жилья, скученности коммуналок и общей неприязнательности мироустройства на сундуках спала едва ли не половина мальчишек — были среди них и будущие герои Советского Союза. Но как-то именно в случае со Львом Гумилевым этот сундук резанул острым краем по сердцу. Что испытывал мальчик, свалившийся из своего Бежецка, как снег на голову, матери и отчиму — по сути, чужим ему людям? Потом исключение из университета, едва ли не треть жизни по тюрьмам. Не сломался, хоть и ломали его все кому не лень. Все-таки он был сын героя, Георгиевского кавалера. Научные труды, книги, которым нет равных, — как и всем настоящим книгам. Теория пассионарности. Последние годы он жил, кстати, неподалеку отсюда — рядом с метро «Коломенская».

А может быть, этот мальчик которого никто не встречает в темных полях, — это... Похоже, я заработалась. Что за хренотень дурманит мою башку?

Останавливаюсь на «Пахре», открываю среднюю дверь. Паренек кивает мне и выходит. Я смотрю ему вслед, но смотреть мне недолго: через два шага он исчезает в кромешной тьме.

Все на свете со временем исчезает в кромешной тьме. Но вот уже год не идет у меня из головы этот мальчик. Связана с ним какая-то тревога. Добрался ли он до дома? Конечно добрался — стреляный же воробей, сразу видно.

Когда цветет калина

Иногда бывают странные случаи, чаще всего на 510-м, кладбищенском, маршруте. Оно и понятно: путь-то неблизкий. На прошлой неделе начинаю посадку возле метро, подходит бабушка. Мне, говорит, нужно не то кладбище, на которое вы едете. Тут есть другое — по крайней мере, было лет шесть назад. Проедем «Горки» — я покажу...

Во-первых, «Горки» мы не проезжаем — они далеко в стороне, во-вторых, остановить я могу только на остановке, в-третьих, я езжу по этой дороге уже четверть века — и никогда не слышала о другом кладбище. Нет, конечно, деревень вдоль шоссе много, есть, наверное, в них и кладбища, но как узнать, какое именно требуется? Все это я излагаю бабуле, она упрямо поджимает губы: «Вы не знаете, а кладбище есть...» — «Хорошо, давайте так. Когда вы увидите то самое, другое, кладбище, нажмите на кнопку — я остановлюсь на ближайшей остановке, идет?» Бабушка вышла где-то в Воеводино.

А калина по дороге в оврагах белым-бела, даже не по себе становится от такой красы. Сегодня иду последним рейсом, на последней перед кладбищем остановке замечаю пассажирку с чемоданом. Видно, в аэропорт едет, но это не ко мне, я сейчас ухожу под откос, в тоннель и после на лесную дорогу.

Девушка — худенькая, моих лет, с волосами белыми-пребелыми, — машет рукой. Торможу. Она что-то начинает говорить по-английски, сует мне под нос смартфон с картой, где я ничего не могу разобрать. Вот Воеводино, вот Шишкино, вот какая-то Александровская гостиница — туда она, что ли? «Ну, ноу...» — я отрицательно качаю головой.

Девушка выходит. Странно, бывают же такие белые волосы... Я не спеша разминаюсь с многочисленными такси, которых здесь великое множество, — отстаиваются рядом с аэропортом, поворачиваю вниз, к тоннелю... И вновь замечаю белую девушку — она бежит с обрыва наперерез автобусу и снова машет мне. Я останавливаюсь и открываю дверь. О Боже, чего она к таксистам-то не подойдет, они наверняка знают, где эта гостиница...

Девушка затаскивает чемодан на переднюю площадку. Сзади сигналист: я перекрыла всем кислород, в смысле, проезд. Что я могу поделаться? Закрываю дверь, поспешно трогаюсь — и выхожу на лесную дорогу — ту, что ведет к кладбищу. Блин, куда я ее везу? Бедная девушка в ужас придет, когда увидит кресты да памятники... Искоса взглядываю. Нет, спокойна, изучающе смотрит на меня или, может, на кнопки передней панели... Я чувствую, как правая щека начинает пунцоветь — так всегда бывает, когда на меня долго смотрят.

А вдоль дороги в лесу цветет калина. И я говорю, не глядя на нее: «Калина... Совсем белая, как ваши волосы...» Вот я дебилка-то... Что за чушь я несу? Человек в чужой стране, возможно, нуждается в помощи, а я, пользуясь тем, что она не знает русского языка, горожу черт знает что... Калина, малина...

Я хмуро отворачиваюсь, смотрю на дорогу и больше не говорю ни слова. Хватит на сегодня глупостей! Ладно, если девушка увидит кладбище и испугается — значит, приехала не туда. Вызову ей такси, дождусь, расплачусь, объяснюсь как-нибудь с Глонассом. Авось, таксист лучше поймет, куда ей нужно. Возле кладбища девушка выходит. Кивает мне, направляется куда-то к гранитным мастерским. Я еду обратно по лесной дороге. Это было? Или не было? А может, калиновый куст ожил? Нет, сегодня определенно мерещится всякая чушь.

Как мы с Володькой покупали ступицу

Дело было в июне. Тогда только-только продали куда-то в Рязанскую область нашу с Санькой Четыреста Девятую машину — и мы временно оказались безлошадными. Потом на стоянке появился Триста Семнадцатый — машина третьей колонны. И нам с Санькой было сказано, что теперь это наш автобус. Ребята — что из нашей, что из третьей колонны — недоумевали: зачем его отдали? А Тмарка сказала по секрету: будьте, мол, осторожны, там с колесами что-то, я один раз на нем работала — тормоза отказали.

Ну, осмотрели мы его — нормальный Лиаз. Старенький, понятно, да где на всех напасешься новых машин? Санька тогда на больничный ушел. И сделалась я на время единоличной владелицей Триста Семнадцатого. С колесами там, в самом деле, был швах: постоянно приходилось вызывать техпомощь прямо на линию. Те приезжали, закручивали, подкручивали, да хватало этого ремонта ненадолго: гайки кривые, болты не держатся.

В тот день я рано из парка выехала. Маршрут начинался в Капотне, а я дублировала первый выход. Ну, если первый по каким-то причинам не может выйти на линию — движение открывает второй, то есть я.

Еще на МКАДе я почувствовала себя плохо. Вроде только что меня в парке осматривал врач — пульс был нормальный, давление тоже, настрой, как всегда, боевой. Я причалила к остановке (в других местах на магистрали останавливаться не положено) и выпила анальгин. Но тупая боль, возникшая где-то в затылке, не проходила. Точно громадный паук забрался внутрь и разрывал изнутри мою голову.

Когда я добралась до автостанции, стало понятно, что ехать мне нельзя. Я позвонила диспетчеру Глонасса и изложила ситуацию. «Кто вас в таком состоянии из парка выпустил? — рявкнула диспетчер, добавив несколько

непечатных слов, относящихся, впрочем, не ко мне, а ко всему миру.
— Стойте, я вызываю „Скорую“».

Я опустила голову на руль. Дальше я помню плохо. Приехала «Скорая», меня вытащили из автобуса, уложили в их машину, сделали укол. Ничего особенного, давление высокоовато, а так... Ехать в больницу я отказалась наотрез. Залезла обратно в автобус и задремала на радостях, что отпустила боль.

Разбудил меня звонок начальника колонны. «К тебе выехал Володька — он будет работать на твоей машине. А ты дождись его, чапай в парк, продуйся — потом домой...»

Тут надо сделать отступление. После того, как водитель принял машину — в парке утром или на линии — он несет за нее полную ответственность. То есть не заметил в темноте трещину на лобовом стекле (не заметить легко: стоянка темная, только от луны свет да от фар) — будешь покупать новое лобовое стекло. Если, конечно, тот, кто работал раньше, не сознается, что это его вина. При ДТП тоже — если в ДТП виноват ты сам. На Лиазах запчасти дешевле, а на новеньких, только-только пришедших в парк Нефазах одно лобовое стекло стоит двести тысяч. На Лиазе — для сравнения — от тридцати до шестидесяти. Все эти расходы полностью ложатся на водителя. Недавно новичок из нашей колонны, вконец офигевший от усталости, перепутал педали на мойке, откатился назад и долбанул стоящий позади Нефаз. Разбил лобовое стекло. Влетел на огромные деньги. Зарабатывает начинающий водитель, еще не получающий доплат за выслугу и прочих ништяков, от сорока до пятидесяти тысяч. Вот и считайте. Ну да ладно.

Короче, Володька — высокий, красивый парень с внешностью прибалта и такой же прибалтийской фамилией, приехал, осмотрел машину, сел и уехал в рейс. А я поехала в парк и потом домой.

Вечером мне позвонил мой друг Санек. «Володька ругается на чем свет. Что-то с колесом у него случилось — вызвал техпомощь, те его в парк. Колесо разобрали, а там ступица погнута нахрен. Трындец, короче, колесу. Он говорит: чего за машиной не следите, придурки? Акт составили уже...»

— Санек, я только вчера вызывала техпомощь по поводу колеса.

— Ну, вызовут в шинный цех — так и напишешь. Такое впечатление, что нам в колонну передали эту машину как раз потому, что с ней были какие-то проблемы: мы ж диагностику не проводили.

Спустя несколько дней меня вызвали в шинный цех. Заявили, что колесо накрылось в мою смену и что это будет стоить мне пятнадцать тысяч. Я взяла листок бумаги и описала ситуацию: вызов техпомощи накануне, вызов Скорой в тот день...

— Значит, работали не вы? — белокурая девушка-шинница поправила на затылке замасленную синюю косынку. — Ну, считайте, что отмазались. Отвечать будет тот, кто работал последним. А вы свободны.

Значит, все повесят на Володьку. Который тут не при чем: он же не мог, принимая машину, разобрать каждое из колес и проверить ступицы! А кто при чем, я? Я задергала нашу ремзону с этими колесами — и, как выяснилось, безрезультатно. К тому же, официально телега эта не моя и не Санькина: мы не подписывали и даже не видели акта закрепления за машиной. Ладно, повесят на Володьку — предложу поделить расходы пополам, раз уж мы оба попали в эту байдю. А что еще делать, в суд подавать? Стану я возиться из-за дурацких семи тысяч! Пусть Володька подает, если хочет!

Мы, действительно, поделили расходы пополам — выложили по семь с половиной тысяч. Это в дело вмешался Васильич, новый начальник колонны. Он не стал разбираться — просто решил, что пятнадцать тысяч с одного — это слишком много. Я тоже так считала, поэтому спокойно заплатила и не сказала ему ни слова. Васильич тоже не виноват. К тому же, он новенький. Никто не виноват. И злиться не на кого. Через месяц Триста Семнадцатую машину продали куда-то в Самарскую область. Мы с Саньком стали ездить на Нефазах. И Володька — тоже.

Безумный день без всяких Фигаро

Обычно день водителя автобуса проходит спокойно, размеренно. Нет, мелкие неожиданности, конечно, случаются. Но к ним мы уже привыкли.

К половине четвертого ты приходишь в парк. Сначала идешь в билетный отдел — сдаешь деньги и получаешь талоны. Потом в диспетчерскую, за путевкой. После — на медосмотр. Тут тебя продувают на предмет алкоголя, измеряют пульс и давление. Обнаружат алкоголь — отстранят от рейса, а дальше как повезет: могут сразу уволить, могут на месяц запихать в мойщики или в перегонщики. Зарплата у мойщиков пятнадцать тысяч, у перегонщиков двадцать пять, поэтому очередь на эти вакансии, понятно, не стоит.

Пульс не должен быть больше девяноста, давление — больше ста пятидесяти. Но по факту у меня, к примеру, пульс всегда больше ста. Возможно, он такой с рождения — раньше просто никому не приходило в голову измерять его дважды в день. Меня неизменно спрашивают, как я себя чувствую. И удостоверившись, что хорошо, выпускают на линию. По парку ходит слух, что теперь вообще запретили отстранять от рейса по медицинским показаниям: водителей не хватает, автобусы должны выйти на линию в том порядке и количестве, в каком они стоят в наряде. Впрочем, может быть, это просто слухи: моего друга Саньку дважды отстраняли из-за высокого давления. А так: заболели — берите больничный. Негласно разрешено не больше трех больничных в год, иначе рискуете нарваться на угрозы увольнения. Но это к делу уже не относится.

Итак, вы прошли медосмотр — и получили соответствующий штамп в путевку. Вам снова в диспетчерскую — там поставит штамп уже диспетчер. Теперь ваш путь лежит на стоянку автоколонны — надо найти и осмотреть свою машину. Проверить масло и топливо, особенно если до вас на ней работал кто-то левый — не ваш постоянный сменщик. Если накануне бак не заправили доверху, возникнет перерасход солярки. Который спишут на вас — и вычтут стоимость, разумеется, из вашей зарплаты. Есть машины, которые «подъедают» топливо — особенно это касается старых Лиазов — там перерасход выходит свыше ста литров. Придется платить: доказать что-либо невозможно.

После осмотра машины идете к механику — он тоже ставит печати — в путевку и бортовой журнал. Бортовой журнал имеется у каждого автобуса — в него вносятся сведения о ремонтах и ТО, а отметки водителя — о послерейсовых осмотрах салона.

После механика идете в АСКП получать валидаторы и документы на машину. На «коротыше» валидаторов три, на «гармозе» — длинном автобусе — больше. Валидаторы вешают на специальные крепления, запирают на ключ и «приводят в движение» двумя карточками — личной БСК водителя и картой выхода.

Все, автобус готов к выходу из парка — вот тут и настает самое блаженное для шофера время, ради которого стоит прийти на работу пораньше. Идем к автомату, наливаем кофе. Зовем подругу Танюху из билетного отдела или Аленку с Алкой из АСКП. Или девчонок-водителей — белокурую Ленку, мальчишистую Аньку, ударницу Ирку Листопад — всех, кто под рукой. И вместе — в ногу — топаем в курилку. В курилке пьем кофе, болтаем,

смеемся, обсуждаем новости. Девчонки из АСКП и из билетного отдела обязательно махнут рукой на прощанье и пожелают водителям хорошей смены. После такого прощанья грех не стараться, не делать все, чтоб смена и в самом деле была удачной.

Возвращаемся на стоянку колонны и тут уже топчемся у домика механиков — теперь болтая не с девчонками, а с ребятами-шоферами. Но пора и честь знать. Это значит: пора выезжать из парка. Охранник на воротах отмечает путевку и тоже обязательно пожелает, чтоб «ни гвоздя, ни жезла»...

При возвращении в парк вечером — все то же самое: медосмотр, механик, сдача валидаторов. И курилка с девчонками, понятно — как без нее?

В тот день все было точно так же, правда, работала я по «трехсменке» — это значит работала до трех часов дня, а дальше меня сменял другой водитель.

Поначалу ничего из ряда вон не случилось — народу, конечно, многовато, но тут все понятно: суббота, пятьдесят четвертый маршрут — пассажиры ехали на рынок «Садовод». К полудню небо заволкло, температура понизилась, с неба посыпалась ледяная крупа. На Ставропольской тут же образовалась пробка, а еще впереди меня встал грузовик с «аварийкой». Объехать его можно было только по «встречке», а «встречка», как назло, стояла почти неподвижно.

Звоню диспетчеру Глонасса. «Подойди к шоферу, — посоветовала она. — Если он встал потому, что ему так удобно — сейчас вызову ГИБДД — и мало не покажется. А если сломался... даже не знаю... буксир ждать, наверное...» Водитель грузовика говорит, что машина сломалась — тронуться он никак не может. Через некоторое время мне все-таки удастся объехать его по «встречке» — тут уж надо встречным водителям в ножки кланяться за понимание.

Подъезжая к следующей остановке, замечаю явно поддатых мужчину и женщину — что поделаешь, выходной. Останавливаюсь, открываю двери. Мужчина заходит в автобус, женщина зачем-то пытается его удерживать. Он с силой толкает свою спутницу — и она летит головой на обледеневший асфальт. Ставлю машину на ручник и нейтралку, бросаюсь к ней — почти одновременно с пожилой пассажиркой. Поднимаем с земли, отряхиваем.

— Вам вызвать «Скорую»? — спрашиваю я.

Она молча отталкивает наши руки и, пошатываясь, уходит прочь. Ну, ушла — значит, по крайней мере, может идти. Сажусь за руль, еду дальше.

На Чагинской пробка. Жуткая. На Верхних полях, на которые мне нужно повернуть — тоже. Автобус теснят со всех сторон, светофор горит полминуты, повернуть практически невозможно. Пассажиры начинают орать и ломиться в кабину.

— Откройте двери, мы пешком пойдём!

— Я не могу тут вас высадить, это опасно, — пытаюсь я перекричать толпу.

— Отстаньте от водителя, она умница, правила соблюдает... — пытается защитить меня одинокий мужской голос, но он тонет в негодующем ропоте.

К двери кабины протискивается пожилая женщина.

— Девушка, вызовите «Скорую», мне плохо!

Я снова ставлю машину на ручник и звоню в Глонасс.

— Мне нужна «Скорая», плохо пассажирке... Да, диктую... скажите, пожалуйста, как вас зовут и возраст, — это я женщине, тяжело дышащей, притиснутой толпой к моей кабине. Надо бы посадить ее, но как? В кабину впускать никого я не имею права, а в автобусе такая давка, что невозможно выйти из кабины.

— Откройте дверь, мне душно... — просит женщина. Я открываю дверь. Тут же толпа устремляется к выходу. Хорошо, что хоть сбить их тут не могут: за мной стоит фура — она не даст никому проехать вперед. Где пассажирка, которой плохо? Ее давно уже и след простыл. Снова звоню в Глонасс.

— Не нужно «Скорую», у нас все хорошо!

Кое-как поворачиваю, долго стою на Верхних Полях, потом на МКАДе, потом в Капотне. Заезжаю на автостанцию — и меня начинает рвать. Еле-еле успеваю открыть дверь и выбраться наружу. Я была в рейсе больше четырех часов.

Звонит диспетчер Глонасса — милая девушка по имени Катюша. Пожалуй, никто не относится к водителям так хорошо, как она. Она смеется.

— Ты живая там? Думаешь, рекорд по опозданиям поставила? Как же, за тобой машина, небось, все пять часов будет ехать. Вот что с тобой делать? В этот ужас отправлять заново бесчеловечно, к тому же ты опоздаешь на смену....

— Меня рвет... — выдавливаю я.

— Так это чудесно, — радуется диспетчер. — Тогда вызываем «Скорую»!

До приезда «Скорой» меня рвало еще пять или шесть раз — заблевала я всю автостанцию. Молоденький врач и добродушная медсестра в возрасте осмотрели меня, посочувствовали, вкололи церукал и что-то от головной боли.

Я была спасена! Через час приехал сменщик. Конец безумной смены — можно отправляться в парк!